

Декамерон

Автор:

Джованни Боккаччо

Декамерон

Джованни Боккаччо

Джованни Боккаччо (1313–1375) – итальянский писатель, гуманист эпохи Раннего Возрождения, который наряду со своими кумирами – великим Данте и несравненным Петраркой – оказал огромное влияние на развитие всей европейской культуры. «Декамерон» – в переводе с греческого «десятидневник» – это сборник из ста новелл, рассказанных десятью молодыми людьми, которые в самый разгар страшной чумы удаляются на загородную виллу, где в течение десяти дней рассказывают друг другу истории, каждая из которых кладет неповторимый мазок в общую картину итальянской жизни XIV века.

Джованни Боккаччо

Декамерон

Вступление

Соболезновать страждущим – черта истинно человеческая, и хотя это должно быть свойственно каждому из нас, однако ж в первую очередь мы вправе требовать участия от тех, кто сам его чаял и в ком-либо его находил. Я как раз принадлежу к числу людей, испытывающих в нем потребность, к числу людей,

кому оно дорого, кого оно радует. С юных лет и до последнего времени я пылал необычайною, возвышеннейшею и благородною любовью, на первый взгляд, пожалуй, не соответствовавшей низкой моей доле, и хотя умные люди, которым это было известно, хвалили меня и весьма одобряли, со всем тем мне довелось претерпеть лютейшую муку, и не из-за жестокости возлюбленной, а из-за моей же горячности, чрезмерность коей порождалась неутоленною страстью, которая своею безнадежностью причиняла мне боль нестерпимую. И вот, когда я так горевал, веселые речи и утешения друга принесли мне столь великую пользу, что, по крайнему моему разумению, я только благодаря этому и не умер. Однако по воле того, кто, будучи сам бесконечен, установил незыблемый закон, согласно которому все существующее на свете долженствует иметь конец, пламенная любовь моя, которую не в силах были угасить или хотя бы утишить ни мое стремление побороть ее, ни дружеские увещания, ни боязнь позора, ни грозившая мне опасность, с течением времени сама собой сошла на нет, и теперь в душе моей осталось от нее лишь то блаженное чувство, какое она обыкновенно вызывает у людей, особенно далеко не заплывающих в бездны ее вод, и насколько мучительной была она для меня прежде, настолько же ныне, когда боль прошла, воспоминания о ней мне отрадны.

Но хотя кручина моя унялась, участие, которое приняли во мне те, кто из доброго ко мне расположения болели за меня душой, не изгладилось из моей памяти, и я твердо уверен, что перестану об этом помнить, только когда умру. А так как, по моему разумению, благодарность есть самая похвальная из всех добродетелей, неблагодарность же заслуживает самого сурового порицания, то я, дабы никто не мог обвинить меня в неблагодарности, порешил, раз я теперь свободен, возратить долг и по мере возможности развлечь если не тех, кто меня поддерживал, – они-то, может статься, в силу своего благоразумия или по воле судьбы как раз в том и не нуждаются, – то, по крайности, тех, кто испытывает в том потребность. И хотя моя поддержка и мое утешение будут, наверное, слабы, все же мне думается, что поддерживать и утешать надлежит главным образом тех, кто особливую в том имеет нужду: пользы им это принесет больше, чем кому бы то ни было, они же это больше, чем кто-либо другой, оценят.

А кто станет отрицать, что подобного рода утешение, сколько бы ни было оно слабо, требуется не так мужчинам, как милым женщинам? Женщины от стыда и страха затаивают любовный пламень в нежной груди своей, а кто через это прошел и на себе испытал, те могут подтвердить, что огонь внутренний сильнее наружного. К тому же, скованные хотеньем, причудами, веленьями отцов, матерей, братьев, мужей, они почти все время проводят в четырех стенах,

томятся от безделья, и в голову им лезут разные мысли, далеко не всегда отрадные. И если от этих мыслей, вызванных томлением духа, им иногда взгрустнется, то грусть эта, на великое их несчастье, не покидает их потом до тех пор, пока что-нибудь ее не рассеет. Что же касается влюбленных мужчин, то они не столь хрупки: с ними этого, как известно, не бывает. Они располагают всевозможными средствами, чтобы развеять грусть и отогнать мрачные мысли: захотят – прогуляются, поглядят, послушают, захотят – начнут птицу бить, зверя травить, рыбу ловить, на коне гарцевать, в карты играть, торговать. В каждое из этих занятий мужчина волен вложить всю свою душу или, по крайности, часть ее и, хотя бы на некоторое время, от печальных мыслей избавиться, и тогда он успокаивается, а если горюет, то уже не столь сильно.

Так вот, с целью хотя бы частично загладить несправедливость судьбы, слабо поддерживающей как раз наименее крепких, что мы видим на примере нежного пола, я хочу приободрить и развлечь любящих женщин, – прочие довольствуются иглой, веретеном или же мотовилом, – и для того предложить их вниманию сто повестей, или, если хотите, побасенок, притч, историй, которые, как вы увидите, на протяжении десяти дней рассказывались в почтенном обществе семи дам и трех молодых людей во время последнего чумного поветрия, а также несколько песенок, которые пели дамы для собственного удовольствия. В этих повестях встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательницы получают удовольствие, – столь забавны приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок: они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться. И я надеюсь, что на душе у них станет легче. Если же так оно, бог даст, и случится, то пусть они возблагодарят Амура, который, избавив меня от своих цепей, тем самым дал мне возможность порадовать их.

Начинается первый день ДЕКАМЕРОНА,

Обворожительнейшие дамы! Зная ваше врожденное мягкосердечие, я убежден, что предисловие к моему труду покажется вам тяжелым и печальным, ибо таково воспоминание, с которого оно начинается, – воспоминание о последнем

чумном поветрии, бедственном и прискорбном для всех, кто его наблюдал и кого оно так или иначе коснулось. Не подумайте, однако ж, что вся книга состоит из рыданий и стонов, – я вовсе не намерен отбивать у вас охоту читать дальше. Страшное начало – это для вас все равно, что для путников высокая, крутая гора, за которой открывается роскошная, приветная долина, тем больше отрады являющая взорам путников, чем тяжелее достались им восхождение и спуск. Подобно как бурная радость сменяется горем, так же точно вслед за испытаньями приходит веселье. Минет краткая эта невзгода (краткая потому, что я описываю ее в немногих словах), и настанет блаженная пора утех, – я вам их предрекаю, а то после такого вступления вряд ли можно было бы их ожидать. Откровенно говоря, если б у меня была возможность более удобным путем, а не по крутой тропинке, привести вас к желанной цели, я бы охотно это сделал, но если не начинать с воспоминания, то будет непонятно, как произошло то, о чем вам предстоит прочесть, – словом, мне без него не обойтись.

Итак, со времен спасительного вочеловеченья сына божия прошло уже тысяча триста сорок восемь лет, когда славную Флоренцию, лучший город во всей Италии, посетила губительная чума;[1 - ...посетила губительная чума... – Речь идет о знаменитой эпидемии чумы, вспыхнувшей в Тоскане в январе 1348 года. В апреле того же года она перекинулась во Флоренцию. Болезнь была завезена с Востока. По одним сведениям – из Сирии, по другим – из Кафы (нынешняя Феодосия в Крыму). Согласно последней версии, в татарском войске, осаждавшем принадлежавшую генуэзцам Кафу, началась эпидемия чумы. Будучи не в силах взять сильно укрепленный город приступом, татары решились на отчаянное средство: с помощью катапульт они стали перебрасывать трупы умерших от чумы через городские стены. Несмотря на все принятые осажденными меры, несколько зараженных попали на корабли, отплывшие в Италию. Так началась чума в Европе, повлекшая за собой неисчислимые жертвы.] возникла же она, быть может, под влиянием небесных тел, а быть может, ее наслал на нас за грехи правый гнев божий, дабы мы их искупили, но только за несколько лет до этого она появилась на Востоке и унесла бесчисленное число жизней, а затем, беспрестанно двигаясь с места на место и разросшись до размеров умопомрачительных, добралась наконец и до Запада. Ничего не могли с ней поделать догадливость и предусмотрительность человеческая, очистившая город от скопившихся нечистот руками людей, для этой цели употребленных,[2 - ...руками людей, для этой цели употребленных... – Среди этих «специальных» людей находился и отец Боккаччо.] воспрещавшая въезд больным, распространившая советы медиков, как уберечься от заразы; ничего не могли с ней поделать и частые усердные моления богобоязненных жителей, принимавших участие как в процессиях, так равно и в других видах

молебствий, – приблизительно в начале весны вышеуказанного года страшная болезнь начала оказывать пагубное свое действие и изумлять необыкновенными своими проявлениями. Если на Востоке непреложным знаком смерти было кровотечение из носу, то здесь начало заболевания ознаменовывалось и у мужчин и у женщин опухолью под мышками и в паху, разраставшимися до размеров яблока средней величины или же яйца, – у кого как, – народ называл их бубонами. В самом непродолжительном времени злокачественные бубоны появлялись и возникали у больных и в других местах. Потом у многих обнаруживался новый признак вышеуказанной болезни: у этих на руках, на бедрах, а равно и на остальных частях тела проступали черные или же синие пятна – у иных большие и кое-где, у иных маленькие, но зато сплошь. У тех вначале, да и впоследствии, вернейшим признаком скорого конца являлись бубоны, а у этих – пятна. От этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья. То ли сама эта болезнь неизлечима, то ли виной тому невежество врачевавших (тут были и сведущие лекари, однако ж преобладали многочисленные невежды как мужеского, так равно и женского пола), но только никому не удалось постигнуть причину заболевания и, следовательно, сыскать от нее средство, вот почему выздоравливали немногие, большинство умирало на третий день после появления вышеуказанных признаков, – разница была в часах, – при этом болезнь не сопровождалась ни лихорадкой, ни какими-либо другими дополнительными недомоганиями.

Чума распространялась тем быстрее, что больные, общаясь со здоровыми, их заражали, – так пламя охватывает находящиеся поблизости сухие или жирные предметы. Весь ужас был в том, что здоровые заболевали и гибли не только после беседы и общения с больными, – заражались этой болезнью однажды дотронувшись до одежды или же еще до какой-либо вещи, до которой дотрагивался и которой пользовался больной. То, что я сейчас скажу, может сойти за небылицу, и когда бы этому не было множества свидетелей и когда бы я сам этого не наблюдал, ни за что бы я этому не поверил, даже если б узнал из достоверного источника, и, уж конечно, не стал бы о том писать. Так вот, заразительность чумы была столь сильна, что передавалась зараза не только от человека к человеку, – наблюдались еще более поразительные случаи: если к вещи, принадлежавшей больному чумой или же умершему от чумы, прикасалось живое существо не из рода человеческого, то оно не только заражалось, но и в самом недолгом времени гибло. В этом я, повторяю, уверился воочию, – между прочим, на таком примере: однажды кто-то выбросил на улицу рубище бедняка, скончавшегося от этой болезни, а две свиньи, по своему обыкновению, давай его наподдавать пяточком и рвать зубами, немного же спустя, точно наевшись отравы, они стали корчиться, а в конце концов повалились на злополучное

тряпье и издохли.

Таковые, им подобные и еще более ужасные случаи порождали всевозможные страхи и бредовые видения у тех, которые, уцелев, в большинстве своем стремились к единственной и бесчеловечной цели: держаться подальше от заболевших, избегать общения с ними и не притрагиваться к их вещам, – они надеялись при этом условии не заболеть. Иные стояли на том, что жизнь умеренная и воздержная предохраняет человека от заразы. Объединившись с единомышленниками своими, они жили обособленно от прочих, укрывались и запирались в таких домах, где не было больных, и где им больше нравилось, в умеренном количестве потребляли изысканную пищу и наилучшие вина, не допускали излишеств, предпочитали не вступать в разговоры с людьми не их круга, боясь, как бы до них не дошли вести о смертях и болезнях, слушали музыку и, сколько могли, развлекались. Другие, придерживавшиеся мнения противоположного, напротив того, утверждали, что вином упиваться, наслаждаться, петь, гулять, веселиться, по возможности исполнять свои прихоти, что бы ни случилось – все встречать смешком да шуточкой, – вот, мол, самое верное средство от недуга. И они заботились о том, чтобы слово у них не расходилось с делом: днем и ночью шатались по тавернам, пили без конца и без счета, чаще всего в чужих домах – в тех, где, как им становилось известно, их ожидало что-нибудь такое, что было им по вкусу и по нраву. Вести подобный образ жизни было им тем легче, что они махнули рукой и на самих себя, и на свое достояние – все равно, мол, скоро умрем, – вот почему почти все дома в городе сделались общими: человек, войдя в чужой дом, распоряжался там, как в своем собственном. Со всем тем эти по-скотски жившие люди любыми способами избегали больных. Весь город пребывал в глубоком унынии и отчаянии, ореол, озарявший законы божеские и человеческие, померк, оттого что служители и исполнители таковых разделили общую участь: либо померли, либо хворали, подчиненные же их – те, что остались в живых, – не обладали надлежащими полномочиями, и оттого всякий что хотел, то и делал. Многие придерживались середины: не ограничивая себя в пище, подобно первым, не пьянствуя и не позволяя себе прочих излишеств, подобно вторым, они во всем знали меру, через силу не ели и не пили, не запирались, а гуляли с цветами, с душистыми травами или же с какими-либо ароматными веществами в руках и, дабы освежить голову, часто нюхали их, так как воздух был заражен и пропитан запахом, исходящим от трупов, от больных и от снадобий. У иных был более суровый, но зато, пожалуй, более верный взгляд на вещи: эти утверждали, что нет более действенного средства уберечься от заразы, как спастись от нее бегством. В сих мыслях, думая только о себе, многие мужчины и женщины бросили родной город, дома и жилища, родных и все имущество свое и устремились кто в

окрестности Флоренции, кто в окрестности других городов, как будто гнев божий не покарал бы грешников, куда бы они ни попрятались, но обрушился бы лишь на тех, кто остался в стенах города; а быть может, они полагали, что городу пробил последний час и все его жители, как один человек, перемерут.

Из этих людей, придерживавшихся самых различных мнений, не все погибали, но и не все выживали, – напротив того: жители умирали всюду и во множестве, вне зависимости от направления их ума, и пока они были здоровы, они подавали пример бодрости другим здоровым, а как скоро заболевали, то, почти всеми покинутые, падали духом. Нечего и говорить, что горожане избегали друг друга, соседи не помогали друг другу, родственники редко, а иные и совсем не ходили друг к другу, если же виделись, то издали. Бедствие вселило в сердца мужчин и женщин столь великий страх, что брат покидал брата, дядя – племянника, сестра – брата, а бывали случаи, что и жена – мужа, и, что может показаться совсем уже невероятным, родители избегали навещать детей своих и ходить за ними, как если бы то не были родные их дети. Вследствие этого заболевавшие мужчины и женщины, – а таких было неисчислимое множество, – могли рассчитывать лишь на милосердие истинных друзей, каковых было наперечет, либо на корыстолюбие слуг, коих привлекало непомерно большое жалованье, да и тех становилось все меньше и меньше, и то были мужчины и женщины грубые по натуре, не привыкшие ухаживать за больными, годные только на то, чтобы подать что-нибудь больному да не пропустить той минуты, когда он кончится, и нередко на таковой службе вместе с заработком терявшие жизнь. Итак, больных бросали соседи, родственники, друзья, слуг не хватало, – вот чем объясняется никогда прежде не наблюдавшееся явление: прекрасные, обворожительные, благородные дамы, заболев, не стеснялись прибегать к услугам мужчин, хотя бы и молодых, и не стыдились, если того требовало лечение, заголять при них, как при женщинах, любую часть тела, каковое обстоятельство, может стать, явилось причиной тому, что, выздоровев, они были уже менее целомудренны. Должно заметить, что многие, быть может, и выжили бы, если бы им была оказана помощь. Вследствие всего этого, а также из-за плохого ухода и в силу заразительности болезни, число умиравших и днем и ночью было столь велико, что страшно было даже слышать об этом, а не то что смотреть на мертвых. Сама жизнь коренным образом изменила нравы горожан.

Прежде у нас был такой обычай (теперь он возродился): в доме покойника собирались родственницы и соседки и плакали вместе с его близкими, у дома покойника собирались родственники, соседи, другие горожане, а если он был знатного рода, то и духовные лица, равно как и сверстники усопшего, и торжественно, со свечами и с пением, выносили его тело в ту церковь, где он

завещал отпевать его. Когда же начала свирепствовать чума, обычай этот почти исчез, зато появился новый. Теперь люди умирали не только без плакальщиц, но часто и без свидетелей, и лишь у гроба весьма немногочисленных горожан сходилась родня, и тогда слышались скорбные песни и проливались горячие слезы, – теперь принято было смеяться, шутить, веселиться, каковой обычай имел особенный успех у женщин, которые, опасаясь за свое здоровье, подавляли в себе присущую им сердобольность. Мало было таких, которых провожали в церковь человек десять-двенадцать соседей, да и те были не именитые, почтенные граждане – несли тело простолюдины, которые за это получали вознаграждение и сами себя называли похоронщиками: они внезапно вырастали у гроба, затем, подняв его, скорым шагом направлялись в церковь, – при этом чаще всего не в ту, где умерший еще при жизни завещал отпевать его, а в ближайшую, – и несли они покойника при небольшом количестве свечей, иногда и вовсе без всяких свечей, а впереди шли духовные лица – человек пять-шесть, – и в храме эти последние не утруждали себя долгим и особо торжественным отпеванием, а потом с помощью похоронщиков опускали тело в первую попавшуюся еще никем не занятую гробницу. Мелкота и большинство людей со средним достатком являли собой еще более прискорбное зрелище: надежда на выздоровление или же бедность удерживали их у себя дома, среди соседей, и заболели они ежедневно тысячами, а так как никто за ними не ухаживал, и никто им не помогал, то почти все они умирали. Иные кончались прямо на улице, кто – днем, кто – ночью, большинство же хотя и умирало дома, однако соседи узнавали об их кончине только по запаху, который исходил от их разлагавшихся трупов. Весь город полон был мертвецов. Соседи, побуждаемые страхом заразиться от трупов, а равно и сочувствием к умершим, поступали по большей части одинаково: либо сами, либо руками носильщиков, если только их можно было достать, выносили мертвые тела из домов и клали у порога, где их, выставленных во множестве, мог видеть, особливо утром, любой прохожий, затем посылали за носилками, а если таковых не оказывалось, то клали трупы на доски. Бывало, на одних носилках несли два, а то и три тела, и весьма нередко можно было видеть на одних носилках жену и мужа, двух, а то и трех братьев, отца и сына – и так далее. Постоянно наблюдались случаи, когда за спиной двух священников, шедших с распятием впереди покойника, к похоронной процессии приставало еще несколько носилок, так что священники, намеревавшиеся хоронить одного покойника, в конце концов хоронили шесть, восемь, а то и больше. И никто, бывало, не почтит усопших ни слезами, ни свечой, ни проводами – какое там: умерший человек вызывал тогда столько же участия, сколько издохшая коза. Тогда было очевидно для всех, что если обычное течение вещей не научает и мудрецов терпеливо сносить незначительные и редкие утраты, то в дни великих испытаний даже недалекие люди становятся

предусмотрительными и невозмутимыми. Так как для великого множества мертвых тел, которые каждый день и чуть ли не каждый час подносили к церквам, не хватало освященной земли, необходимой для совершения похоронного обряда, – а ведь старый обычай требовал, чтобы для каждого покойника было отведено особое место, – то на переполненных кладбищах при церквах рыли преогромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы, которые только успевали подносить к храмам. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме, потом посыпали землей, потом клали еще один ряд – и так до тех пор, пока яма не заполнялась доверху.

Не вдаваясь более в подробности, относящиеся к постигшему наш город несчастью, я должен заметить, что эта губительная для него пора была нисколько не менее ужасна и для его окрестностей. Не говорю уже о замках, ибо замок есть тот же город, только меньших размеров, но и в раскиданных там и сям усадьбах и в селах крестьяне с семьями, все эти бедняки, голяки, оставленные без лечения и ухода, днем и ночью умирали на дорогах, в поле и дома – умирали так, как умирают не люди, а животные. Вследствие этого у сельчан, как и у горожан, наблюдалось ослабление нравов; они запустили свое хозяйство, запустили все свои дела и, каждый день ожидая смерти, не только не заботились о приумножении доходов, которые они могли получить и от скота и от земли, о пожинании плодов своего собственного труда, но, напротив того, старались все имеющееся у них тем или иным способом уничтожить. Волы, ослы, овцы, козы, свиньи, куры, даже верные друзья человека – собаки, изгнанные из своих помещений, безвозбранно бродили по заброшенным нивам, на которых хлеб был не только не убран, но даже не сжат. И многие из них, точно это были существа разумные, за день вволю наевшись, насытившись, на ночь, одни, без пастуха, возвращались в свои помещения. Если оставить окрестности и возвратиться к городу, то что может быть красноречивее этих чисел: то ли небеса были к нам так немилостивы, то ли до некоторой степени повинно в том бессердечие человеческое, как бы то ни было – с марта по июль, отчасти в силу заразительности самой болезни, отчасти потому, что здоровые из боязни заразы не ухаживали за больными и бросали их на произвол судьбы, в стенах города Флоренции умерло, как уверяют, сто с лишним тысяч человек, а между тем до этого мора никто, уж верно, и предполагать не мог, что город насчитывает столько жителей. Сколько у нас опустело пышных дворцов, красивых домов, изящных пристроек, – еще так недавно там было полным-полно слуг, дам и господ, и все они вымерли, все до последнего кучеренка! Сколько знатных родов, богатых наследств, огромных состояний осталось без законных наследников! Сколько сильных мужчин, красивых женщин, прелестных юношей, которых даже Гален, Гиппократ и Эскулап[3 - Гален, Гиппократ и Эскулап... –

Два знаменитых греческих врача вкупе с Эскулапом (фигурой мифической) упоминались постоянно в итальянской литературе XIV века.] признали бы совершенно здоровыми, утром завтракало с родными, товарищами и друзьями, а вечером ужинало со своими предками на том свете!

Продолжать описывать все эти ужасы слишком тяжело, а потому, опустив все, что почитаю возможным, спешу сообщить, что в то время как город в силу указанных обстоятельств почти опустел, однажды, о чем мне после рассказывал человек, заслуживающий доверия, во вторник утром, в чтимом храме Санта Мария Новелла,[4 - ...в чтимом храме Санта Мария Новелла... - Знаменитая церковь Санта Мария Новелла во Флоренции, начатая постройкой в 1278 году, была во времена Боккаччо одной из самых посещаемых во Флоренции.] где на ту пору почти никого не было, семь молодых женщин в соответствовавших мрачной той године траурных одеждах, связанные между собою дружбой, соседством, родством, в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми лет, рассудительные, родовитые, красивые, благонравные, пленительные в своей скромности, прослушав божественную литургию, приблизились друг к дружке. Я мог бы сообщить подлинные их имена, но у меня есть основание от этого воздержаться, а именно: я не хочу, чтобы кому-нибудь из них стало стыдно за предлагаемые повести, которые они или сами рассказывали, или же слушали, ибо теперь насчет увеселений стало строже, нежели в то время, когда по вышеуказанным причинам даже гораздо более зрелого возраста люди пользовались в этом отношении несравненно большей свободой. Еще мне бы не хотелось, чтобы у завистников, всегда готовых очернить человека уважаемого, явился повод хоть как-нибудь затронуть поносными словами доброе имя достойных женщин. А чтобы их нельзя было спутать, я каждой из них дам такое имя, которое всецело или хотя бы отчасти будет соответствовать душевным ее качествам: первую, самую из них старшую, мы назовем Пампинеей, вторую - Фьямметтой,[5 - ...первую... мы назовем Пампинеей, вторую - Фьямметтой и т. д. - Дело в том, что имена всех семи девушек, персонажей Боккаччо, значащие. Пампинея - значит цветущая; фьямметта - имя легендарной возлюбленной самого автора, вдохновительницы ранних его сочинений; Филомена - любительница пения; Эмилия - ласковая; Лауретта - уменьшительное от Лауры, воспетой Петраркой; Нейфила - «новая для любви» (впервые влюбленная); Элисса - второе имя вергилиевской Дидоны.] третью - Филоменой, четвертую - Эмилией, Лауреттой - пятую, шестую - Нейфилой, а последнюю - не без основания - Элиссой.

Случайно, а не преднамеренно, сойдясь в одном из приделов храма, они сели в кружок, прочли «Отче наш» и, повздыхав, начали беседовать о многообразных предметах, имевших касательство к злобе дня. Когда же воцарилось молчание,

заговорила Пампинея:

– Милые дамы! Мне, как, вероятно, и вам, не раз приходилось слышать, что если человек с благими намерениями пользуется своим правом, то это никому не причиняет вреда. Естественное право каждого появляющегося на свет – защищать, оберегать и ограждать свою жизнь. Бывали даже такие случаи, когда ради того, чтобы обезопасить себя, люди шли на убийство, хотя бы тот, кого они убивали, был пред ними ни в чем не повинен. И раз это не воспрещено законами, споспешествующими благоденствию смертных, то должны же мы, как и все прочие, не в ущерб кому-либо принять все возможные меры предосторожности к спасению своей жизни! Вспомнив, как мы вели себя нынче утром, да и все последнее время, вспомнив, о чем и как мы между собой говорили, я, как, вероятно, и вы, прихожу к заключению, что все мы опасаемся за свою жизнь. Но не это меня удивляет – меня до крайности удивляет, что при нашей-то женской чувствительности мы не оказываем ни малейшего противодействия тому, чего каждая из нас имеет все основания страшиться. Невольно создается впечатление, что мы здесь находимся потому, что нам самим хочется, или же потому, что нам вменили в обязанность быть свидетельницами того, сколько мертвецов предано земле, проверять, совершают ли духовные особы, которых, кстати сказать, почти уже не осталось, в положенные часы богослуженья, и своим одеянием показывать каждому входящему, сколь велика и сколь ужасна постигшая нас беда. А вот что является нашему взору, стоит нам выйти из церкви: взад-вперед ходят люди и перетаскивают мертвых и больных; преступники, по закону приговоренные к изгнанию, бесчинствуют, попирая закон, ибо они отлично знают, что исполнители такового или мертвы, или больны; так называемые похоронщики, эти отбросы общества, наживающиеся на нашем несчастье, всюду разъезжают и расхаживают, одним своим видом терзая нам душу, и в непристойных песнях глумятся над нашим горем. Мы только и слышим: «Такие-то умерли», «Те-то и те-то умирают», – и если бы было кому плакать, мы всюду слышали бы жалобный плач. Наверно, это и с вами бывало: я прихожу домой, вижу, что от моей большой семьи никого не осталось – во всем доме одна-единственная служанка, и чувствую, как у меня от ужаса волосы становятся дыбом. И куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, всюду мне мерещатся призраки умерших, но я уже не узнаю знакомые черты: покойники по непонятной для меня причине приняли новое, ужасное, пугающее обличье. Вот почему мне везде страшно: и здесь, и дома, и где бы то ни было. А ведь, если я не ошибаюсь, только мы во всем городе располагаем средствами, и только нам есть куда удалиться. Мне часто приходилось слышать и даже видеть, как люди, – не знаю, впрочем, живы ли они еще, – утратив представление о том, что благопристойно и что неблагопристойно, сделавшись рабами своих похотей, и

одни и на людях, и днем и ночью резвятся в свое удовольствие. И поступают так не только миряне, но и монастырские затворники: эти себя убедили, что им пристало и подобает делать то же, что делают другие; в надежде на то, что благодаря этому смерть их не тронет, они, нарушив обет послушания, стали ублажать свою плоть, стали распутниками и развратниками. А когда так, то зачем же мы здесь? Чего ожидаем? О чем думаем? Почему мы безразличнее и равнодушнее относимся к собственному здоровью, нежели прочие горожане? Считаем ли мы себя хуже других? Или мы полагаем, что жизнь наша прикреплена к телу более прочной цепью, нежели у других, и у нас нет оснований опасаться, что есть такая сила, которая способна порвать ее? Когда так, то мы заблуждаемся, мы сами себя обманываем. Если мы и впрямь склонны так думать, значит, как же мы безрассудны! Вспомним, как много прекрасных юношей и девушек унесла неумолимая чума, – это самое наглядное доказательство нашего безрассудства. Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению, а все же я, для того чтобы наше упрямство или же самонадеянность не завели нас в тупик, предлагаю следующее: по-моему, самое лучшее, что мы можем сделать, – это последовать примеру тех, кто уже так поступил, а равно и тех, кто и сейчас еще так поступает, то есть оставить город и, страшась пуще смерти дурного общества, благопристойным образом удалиться в загородные имения, – а ведь у каждой из нас таких имений много множество, – и в тех имениях, ни в чем не переходя границы благоразумия, заполнить свой досуг всякого рода развлечениями – веселостями и удовольствиями. Там поют птички, зеленеют холмы и доли, на нивах волнуется море хлебов, и каких только нет там деревьев, и небо там более открытое, нежели здесь, и хоть оно и гневается на нас, а все же вечной своей красы не скрывает, – все это куда больше ласкает взор, нежели опустевший наш город. Да и воздух там чище, и все, что в такое время особенно необходимо для поддержания сил, мы там найдем в изобилии, а вот огорчений там меньше. Хлебопашцы там тоже мрут, как здесь горожане, однако смерть не производит там такого тяжелого впечатления, как в городе, оттого что домов и жителей там меньше, чем в городе. С другой стороны, здесь, если не ошибаюсь, мы никого не покидаем; если уж на то пошло, так скорее мы можем считать, что мы всеми покинуты, ибо наши близкие или умерли, или бежали от смерти и бросили нас в беде, словно мы им чужие. Коротко говоря, если мы так поступим, то упрекнуть нас будет не в чем. Если же мы поступим по-иному, то нас ожидают скорбь, горе, а может статья, и смерть. Так вот, коли мое предложение всем вам по нраву, давайте возьмем с собой служанок и все, что может понадобиться в дороге, а за городом давайте проводить время сегодня здесь, завтра там и устраивать празднества и увеселения, какие в наше время устраивать дозволяется, – по-моему, так будет лучше всего. Пробудем же мы там, пока не увидим, – если

только мы до этого не умрем, – что нам в конце концов уготовало небо. Примите еще и то в соображение, что похвальнее поступим мы, удаляясь отсюда достойно, нежели те, которые ведут себя здесь недостойно.

Выслушав Пампинею, дамы одобрили ее совет и, вознамерившись последовать ему, начали между собой толковать, как лучше всего применить его к делу, словно по выходе из храма им предстояло незамедлительно отправиться в путь. Однако ж Филомена, женщина в высшей степени благоразумная, молвила:

– Сударыни! Пампинея говорила дело, со всем тем зря вы так спешите. Вспомните, что все мы – женщины, и даже юнейшие из нас прекрасно знают, каково женщине жить своим умом, как необходимы ей советы мужчины. Мы непостоянны, взбалмошны, подозрительны, малодушны, трусливы, и я очень боюсь, как бы без мужского надзора наш кружок не распался, и притом – в самом непродолжительном времени, да еще к немалому урону для нашей чести, так что сперва нужно позаботиться о таком надзоре, а потом уже приступить к исполнению нашего замысла. Элисса ей на это сказала:

– Мужчина – владыка для женщины, то правда; без руководства, осуществляемого мужчинами, начинания наши редко приходят к достохвальному концу, но где мы сыщем таких мужчин? Почти все наши близкие умерли, те же, что остались в живых, разлетаются целыми стаями неизвестно куда, и бегут они от того же, от чего стремимся укрыться и мы. Обращаться к чужим неприлично, – значит, нужно искать другой, благопристойный путь к спасению, иначе вместо веселья и отдохновенья уделом нашим пребудут горе и смута.

Меж тем как девушки все еще вели этот разговор, в церковь вошли трое молодых людей, самому младшему из которых было, однако ж, не менее двадцати пяти лет. У всех троих ни бедственная година, ни утрата друзей и родных, ни боязнь за себя не угасили и не охладили любовный пламень. Одного из них звали Панфило, другого – филострато, третьего – Дионео.[6 - из них звали Панфило, другого – Филострато, третьего – Дионео. – Как и в предшествующем случае, имена юношей тоже значащие. Панфило – то есть «весь любовь»; Филострато – «раздавленный любовью»; Дионео – буквально: «венерео» (от Венеры, дочери Диона).] Все трое были юноши миловидные и благовоспитанные, и все трое как наивысшего утешения среди превратностей жизни жаждали встречи с дамами их сердца, каковые случайно оказались в числе семи упомянутых, остальные же четыре дамы состояли с юношами в родстве.

Юноши и девушки заметили друг друга одновременно.

– Судьба, как видно, благоприятствует нашему намерению, – улыбаясь, заговорила Пампинея, – коль скоро она посылает нам сих рассудительных и достойных юношей, каковые охотно примут на себя обязанности наших наставников и наших слуг, если только мы решимся эти обязанности им поручить.

При этих словах по лицу Нейфилы, в которую один из юношей был влюблен, разлилась краска стыда.

– Что ты, Пампинея! – воскликнула она. – Ни о ком из них ничего, кроме хорошего, сказать нельзя, это я знаю наверное, они справились бы и с более трудными обязанностями, их общество доставило бы удовольствие и послужило бы к чести более привлекательным и достойным девушкам, нежели мы. Вот только они в некоторых из нас влюблены, и об этом все уже знают, – если мы возьмем их с собой, то как бы это, не по нашей и не по их вине, не бросило на нас тень и не вызвало нареканий?

– Пустое! – молвила Филомена. – Мое дело – жить честно, так, чтобы не в чем было себя упрекнуть, а там пусть говорят что хотят, – господь бог и справедливость за меня вступятся. Если б только молодые люди согласились, мы бы тогда могли бы сказать вслед за Пампинеей: судьба благоприятствует нашему путешествию.

Слова Филомены подействовали на всех успокоительно, и тут же было решено позвать молодых людей, сказать о своих намерениях и попросить об одолжении составить им компанию. Пампинея, приходившаяся одному из молодых людей родственницей, нимало не медля встала, направилась к юношам, стоявшим поодаль и смотревшим на девушек, приветливо с ними поздоровалась и, сообщив о своем решении, от имени всех своих подруг обратилась с просьбой – из самых чистых, братских побуждений составить им, если возможно, компанию.

Молодые люди подумали сперва, что она над ними смеется; как же скоро они уверились, что это не шутки, то с радостью изъявили свою готовность и, чтобы не откладывать этого дела, условились, прежде чем разойтись, что нужно взять с собою в дорогу. Приказав начать сборы и послав нарочного туда, где они

намерены были расположиться, на рассвете следующего дня, а именно – в среду, девушки в сопровождении нескольких служанок и трое молодых людей с тремя слугами оставили город. Какие-нибудь две мили[7 - Какие-нибудь две мили... – Учитывая, что тосканская миля равнялась примерно 1650 метрам, компания проделала путь около трех километров.] – и вот они уже в том месте,[8 - ...и вот они уже в том месте... – Согласно традиции, установившейся у комментаторов Боккаччо начиная с XV века, под «тем местом» автор разумел местечко Поджо Герарди (возле Майано), где он имел небольшое поместье.] где их ожидали. В стороне от проезжей дороги глазам их представилась горка, поросшая разнообразною растительностью, увеселявшею взор яркою своею зеленью. На горке стоял дворец с красивым, просторным внутренним двором, с лоджиями, с анфиладой зал и комнат, являвших собой – каждая в своем роде – чудо искусства и украшенных радовавшими глаз дивными картинами, с лужайками и роскошными садами, разбитыми вокруг, с колодцами, откуда брали чистую воду, с погребями, где было полно дорогих вин, что, впрочем, более приличествовало записным кутилам, нежели трезвым и благонравным девицам. Прибывшие обнаружили, к немалому своему удовольствию, что во всех комнатах подметено, в спальнях постелены постели, все убрано цветами, какими в это время года были обильны сады, полы устланы тростником.

Когда, тотчас по прибытии, девушки и юноши сели по местам, заговорил Дионео, изо всей компании самый веселый и остроумный:

– Тем, что мы здесь, мы обязаны, сударыни, вашему благоразумию, мы же оказались недостаточно сообразительны. Мне неизвестно, каково в настоящее время течение ваших мыслей, я же свои мысли оставил за воротами города, едва вышел из них вместе с вами. А потому либо давайте вместе со мной развлекаться, петь, забавляться, в зависимости от того, что каждой из вас по душе, либо отпустите меня к моим мыслям в несчастный наш город.

На это Пампинья, тоже как бы отогнавшая от себя мрачные мысли, с веселым видом ответила ему так:

– Ты хорошо сказал, Дионео. Давайте жить в свое удовольствие – для чего же мы тогда бежали от скорбей? Однако все выходящее из границ длится недолго, а потому я, которая и завела разговор, приведший к образованию столь приятного общества, – я почитаю необходимым, дабы веселье наше было продолжительным, сойтись на том, чтобы кто-нибудь у нас был за главного, которого мы все уважали бы, слушались как старшего и который думал бы

только о том, чтобы нам жилось веселее. Но дабы каждый из нас познал и бремя забот, и радости, сопряженные с главенством, и в то же время дабы никто не питал зависти к тем, кто познал и заботы и радости, я предлагаю возлагать почетное это бремя на каждого из нас по очереди. И первый пусть будет всеми нами избран, а следующих пусть каждый раз перед вечерней назначают по своему благоусмотрению тот или та, кто в этот день был нашим повелителем. И этому вновь назначенному, пока длятся его полномочия, надлежит устанавливать и определять для нас местопребывание и распорядок дня, как ему заблагорассудится.

Это предложение все очень одобрили, и на первый день единогласно была избрана Пампиня, после чего Филомена, от многих слышавшая, сколь почетен лавровый венок для тех, кто его удостоен, и сколь великую честь приносит он тем, кто увенчан им по заслугам, подбежала к лавру, сорвала несколько веточек, сплела пышный почетный венок, возложила его Пампинее на голову, и с этого дня лавровый венок служил в этом обществе, покуда оно существовало, отличительным знаком главенства и королевской власти.

Став королевою, Пампиня велела всем умолкнуть, послала за тремя слугами юношей и за четырьмя служанками и при всеобщем молчании молвила:

– Желая подать вам пример того, как должно способствовать процветанию нашего общества, дабы оно, крепкое своими устоями и безупречное, жило и здравствовало на радость всем нам, пока мы этого хотим, я прежде всего назначаю слугу Дионео Пармено моим дворецким и вверяю его заботам и попечениям всю нашу прислугу, равно как и все, что касается наших трапез. Слуга Панфило Сириско пусть будет нашим счетчиком и казначеем, помощником Пармено. Тиндаро[9 - Пармено... Сириско... Тиндаро и т. д. – имена греческого происхождения, которые встречаются в комедиях Теренция и Плавта.] надлежит состоять при Филострато и других молодых людях: ему вменяется в обязанность прислуживать им в покоях в то время, когда прочие слуги будут заняты другим делом. Моя служанка Мизия и служанка Филомены Личиска должны неотлучно находиться в кухне и со всеусердием готовить кушанья, какие им закажет Пармено. На обязанности служанки Лауретты – Кимеры и служанки Фьямметты – Стратилии будет лежать уборка женских спален и тех комнат, где мы будем собираться. Мы просим, и даже требуем, чтобы каждый, кому дорого наше благоволение, куда бы он ни направился и откуда бы ни возвратился, что бы ни услышал и ни увидел, поостерегся от сообщения новостей, принесенных извне, за исключением приятных.

Наскоро отдал эти распоряжения, всеми встреченные сочувственно, Пампинейя с веселым видом поднялась и сказала:

– Тут у нас и сады, и лужайки, и другие приветные места, – гуляйте сколько хотите, но в девять часов утра, когда еще прохладно, все должны явиться к завтраку.

Как скоро новая королева отпустила веселое общество, юноши и прелестные дамы вышли в сад, и, гуляя, они заговорили о разных приятных вещах, стали плести венки и нежными голосами запели. Так они провели время до установленного королевою часа, а придя домой, увидели, что Пармено рьяно взялся за дело: внизу, в столовой, столы были накрыты белоснежными скатертями, бокалы отливали серебром, всюду благоухал дрок. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук,[10 - ...подали воду для омовения рук... – Обычай, вызванный тем, что к столу не подавали никаких приборов, кроме ножей.] все расселись по местам, которые указал Пармено. Мигом внесли тонкие кушанья и изысканные вина, трое слуг молча прислуживали за столом. Наблюдавшийся за завтраком образцовый порядок привел общество в отменное расположение духа, все мило пошучивали, и завтрак прошел оживленно. Девушки и юноши умели танцевать, некоторые – играть и петь, а потому, как скоро убрали со столов, королева велела принести музыкальные инструменты. Затем, по ее распоряжению, Дионео – на лютне, а Фьямметта – на виоле[11 - ...на виоле... – Виола – музыкальный инструмент для исполнения светской музыки.] заиграли медленный танец. Королева отослала прислугу поесть, а затем она, другие дамы и два молодых человека стали в круг, и начался плавный круговой танец. После этого все стали петь прелестные веселые песенки. Наконец королева решила, что пора соснуть. Когда она всех отпустила, трое молодых людей удалилась на свою половину, – в покоях, где их ожидали отлично постеленные постели, было так же много цветов, как и в зале. Ушли на свою половину и дамы; разделись и легли отдохнуть.

Едва пробило три часа, как королева, уверяя, что днем долго спать вредно, сама поднялась и подняла других дам, а затем молодых людей. Все пошли на лесную лужайку, где росла высокая зеленая трава и куда не проникал ни единый луч солнца. Ощувив легкое дуновение ветерка, королева велела всем сесть в кружок прямо на мураву.

– Как видите, – заговорила она, – солнце еще высоко, жара палящая, слышен лишь треск цикад на ветвях олив. Идти куда-нибудь еще неразумно, а здесь, в

холодке, хорошо, у нас есть шахматы, шашки, каждый может заняться тем, что ему больше по сердцу. Однако, если вы желаете знать мое мнение, я бы предложила посвятить самые жаркие часы не игре, потому что от нее неминуемо портится расположение духа у одних участников, а другим, равно как и зрителям, она тоже особого удовольствия не доставляет, – не игре, но рассказам, ибо один рассказчик способен занять всех слушателей. Каждый из вас что-нибудь расскажет, а там уже солнце начнет склоняться к западу, станет не так жарко, и мы сможем отправиться куда угодно. Если вам мое предложение по душе, – а я готова пойти навстречу любому вашему пожеланию, – то давайте так и поступим; если же нет – пусть до самого вечера все занимаются кто чем хочет.

И мужчины и дамы предпочли рассказывать.

– Коли так, – молвила королева, – я желаю, чтобы в первый день каждый волен был рассказать о том, что ему по нраву.

Тут она обратилась к сидевшему справа от нее Панфило и с очаровательной приятностью попросила его начать. Выслушав приказание, Панфило нимало не медля, меж тем как все общество превратилось в слух, начал свой рассказ так.

Новелла первая

– Всякое дело, милейшие дамы, какое только ни замыслит человек, должно совершать во имя того, кто положил начало всему сущему, имя же его чудотворно и свято. Вот почему и я, раз уж мне выпал жребий открыть наши собеседования, намерен поведать вам одно из его поразительных деяний, дабы мы, услышав о таковом, положились на него как на нечто незыблемое и вечно славили его имя.

Как известно, все временное преходяще и смертно; и оно само, и то, что его окружает, полно грусти, печали и тяготы и всечасным подвергается опасностям, которые нас неминуемо подстерегли бы и которых мы, в сей временной жизни пребывающие и составляющие ее часть, не властны были бы предотвратить и

избежать, когда бы господь по великой своей милости не посылал нам сил и не наделил нас прозорливостью. Не следует думать, будто милость эту мы заслужили, – нет, господь ниспосылает ее нам, потому что он всеблаг, а равно и по молитвам тех, что когда-то были такими же смертными, как и мы, однако волю его при жизни соблюдали и ныне пребывают вместе с ним, бессмертные и блаженные. К ним-то мы и взываем как к нашим заступникам, знающим по опыту, что такое человеческая слабость, – не дерзая, быть может, молиться всеправедному судие, мы со всеми нашими нуждами обращаемся к ним. И тем явственнее обнаруживаются его попечение о нас и милосердие, что, не в силах будучи смертным нашим оком прозревать в тайны божественного разума, мы, введенные в заблуждение молвою, нередко избираем себе такого заступника пред лицом его всемогущества, который им же осужден на вечную муку, а ведь от него ничто не скроется, и все же он, принимая в соображение не столько осуждение того, к кому молитвы воссылаются, и не столько неосведомленность молящегося, сколько душевную его чистоту, приклоняет слух к мольбам так, как если бы осужденный удостоился вечного блаженства. Все это будет явствовать из того, что я собираюсь вам рассказать (когда я говорю «явствовать», то я имею в виду не божественную мудрость, а человеческое разумение).

Говорят, что когда именитый и богатейший купец Мушьятто Францези, получивший дворянство, отбыл в Тоскану вместе с братом французского короля Карлом Безземельным, которого туда вытребовал и вызвал папа Бонифаций,[12 - Папа Бонифаций. – Имеется в виду папа Бонифаций VIII (1235–1303). Он происходил из древнего рода Каэтани.] он обнаружил, что, как это нередко бывает с купцами, дела его и здесь и там сильно запутались и что скоро и просто их не распутаешь, а потому вести дела он поручил нескольким лицам, и таким образом все отлично устроилось. Одно лишь его беспокоило: где ему сыскать человека, который сумел бы взыскать долг с бургундцев? Поводом для беспокойства служило ему то, что бургундцы были ему известны как люди несговорчивые, злонравные и бесчестные, и он никак не мог припомнить, кто бы мог свое коварство с успехом противопоставить их коварству. Долго он над этим ломал себе голову, и наконец на память ему пришел некто мессер Чеппарелло из Прато, который частенько навещал его в Париже. Росту Чеппарелло был небольшого, одевался щеголевато; французы не имели понятия, что означает слово «Чеппарелло»: они полагали, что это соответствует их слову: «шаппель», то есть, на их обиходном наречии, «венок», между тем росту он, как я уже заметил, был небольшого – вот почему они называли его не Шапело, а Шапелето. Всюду он был известен как Шапелето, и лишь немногие знали, что он мессер Шапело. Вот что собой представлял этот самый Шапелето: будучи нотариусом, он сгорал со стыда, если какой-либо из его актов, – а у него и было-то их

немного, – оказывался не фальшивым, составлял же он их по первому требованию, составлял охотнее даром, нежели иной – за крупное вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием как по требованию, так и без всякого требования, а в те времена во Франции придавали громаднейшее значение присяге, ему же ничего не стоило солживить Клятву, и так, нечестным путем, он выигрывал все дела, хотя давал присягу держать ответ по совести и говорить одну лишь истинную правду. Сеять между друзьями, родственниками и вообще между людьми рознь, вражду, ссорить их – это было для него великим удовольствием, это была его страсть, и чем больше его стараниями случалось несчастий, тем ему было приятнее. Если его приглашали принять участие в убийстве или же в каком-либо другом преступлении, он никогда не отказывался, напротив – с удовольствием соглашался и охотно своими собственными руками наносил ранения и убивал. Будучи человеком в высшей степени злобным, он по всякому поводу ругал бога и святых самыми скверными словами. В церковь не ходил, все ее таинства ни во что не ставил и глумился над ними в непристойных выражениях. А вот таверны и прочие злачные места посещал часто и охотно. Женщин он любил, как собака – палку, зато противоположному пороку предавался с большим удовольствием, нежели иной развратник. Обокрасть и ограбить он мог с такой же спокойной совестью, с какою человек добродетельный подает милостыню. Он был страшнейший обжора и пьяница, что в иных случаях доставляло ему неприятности и навлекало на него бесчестье. Он был завзятый шулер и нечисто играл в кости. Но к чему я трачу слова? Лучше было бы этому человеку не родиться. Влияние, каким пользовался мессер Мушьятто, и его положение в обществе долгое время служили щитом для плутней Шапелето – вот почему и частные лица, которых он постоянно оскорблял, и судейские чины, которых он обливал грязью, спускали ему.

Мессер Мушьятто вспомнил про мессера Шапелето, коего образ жизни был ему хорошо известен, и решил, что это и есть тот человек, который требуется для коварных бургундцев; того ради он велел позвать его и обратился к нему с такую речь: «Мессер Шапелето! Тебе известно, что я уезжаю отсюда навсегда, между тем мне задолжали обманщики-бургундцы, взыскать же с них долг никто, кроме тебя, по моему разумению, не способен. Дел у тебя в настоящее время нет никаких, и вот, если ты поручение мое исполнить согласишься, я за тебя замолвлю словечко во дворце, а сверх того выдам тебе изрядную часть тех денег, которые ты стребуешь с бургундцев».

Мессер Шапелето был не у дел, земные блага подходили у него к концу, в довершение всего тот, кто в течение долгого времени служил ему прибежищем

и оплотом, его покидал, так что в силу необходимости ему пришлось согласиться, и он, нимало не медля, изъявил полное свое согласие. Как сказано, так и сделано: получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные письма короля, Шапелето тотчас по отбытии мессера Мушьятто отправился в Бургундию, где его никто почти не знал. Сверх обыкновения он взялся за дело и принялся взыскивать долги мягко и миролюбиво, словно приберегая силы к концу. Остановился он у двух братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством, каковые ростовщики ради мессера Мушьятто оказывали ему все знаки внимания, и внезапно занемог. Братья тот же час послали за лекарями, нашли человека для ухода за ним, словом, приняли все меры для того, чтобы поставить его на ноги. Ничто, однако ж, не помогло, – по словам лекарей, этому доброму человеку, бывшему в преклонных летах, да к тому же еще ведшему беспорядочный образ жизни, день ото дня становилось все хуже и хуже, ибо то был смертельный недуг, что весьма огорчало братьев.

Однажды в комнате рядом с той, где лежал на одре болезни мессер Шапелето, братья завели такой разговор. «Что нам с ним делать? – молвил один другому. – Влипши мы с ним. Выгнать его, больного, из дому было бы в высшей степени постыдно и неблагоприятно: все видели, какое гостеприимство мы ему оказали, как заботливо потом за ним ухаживали и лечили, и вдруг теперь, когда он при смерти и не в состоянии чем-либо досадить нам, мы его выгоняем на улицу! С другой стороны, этот мерзавец не захочет исповедоваться и приобщаться святых тайн, а ежели он умрет без покаяния, то ни одна церковь не станет его хоронить, – его, как собаку, швырнут в яму. А если даже он исповедается, то ведь у него столько тяжких грехов, что то же на то же и выйдет: ни один монах и ни один священник их ему не отпустит; если же он отпущения не получит, все равно лежать ему в яме. Коль же скоро это произойдет, местные жители, которые только и знают, что честить нас, – они считают, что мы занимаемся нехорошими делами, и не прочь нас ограбить, – поднимут шум и гам: «Этих ломбардских собак[13 - «Этих ломбардских собак...» – «Ломбардцами» называли всех ростовщиков.] церковь отказывается хоронить, – чего же мыто их терпим?» Ворвутся в наши дома и не только разграбят их дочиста, а еще, чего доброго, и пристукнут нас. Словом сказать, ежели он умрет, нам придется несладко».

Как я уже сказал, мессер Шапелето лежал в соседней комнате; между тем слух у многих больных бывает особенно тонок, и он расслышал все, что про него говорили братья. Он позвал их к себе и сказал: «Я не хочу, чтобы вы из-за меня тревожились, чтобы вы из-за меня самомалейший потерпели урон. Я слышал все, что вы про меня говорили, и убежден, что когда бы дело приняло такой оборот, то так бы все и произошло, однако ж дело обернется иначе. При жизни я столь

часто гневил бога, что если перед смертью я буду гневить его в течение часа, то прегрешения мои от того не умножатся и не уменьшатся. Посему призовите ко мне святой; праведной жизни монаха, самой что ни на есть святой жизни, если только такие есть на свете, и предоставьте действовать мне: я и ваши и свои дела устрою наилучшим образом, так что вы останетесь довольны».

Хотя братья ничего хорошего не ожидали, со всем тем направили стопы свои в монастырь и обратились с просьбою, чтобы какой-либо благочестивый и мудрый инок исповедал ломбардца, захворавшего у них в доме. Им дали старца святой и строгой жизни, начитанного от Писания, человека весьма почтенного, пользовавшегося у горожан особым и превеликим уважением, и братья повели его к себе. Войдя в комнату, где лежал мессер Шапелето, и приблизившись к умирающему, он принялся ласково утешать его, а затем спросил, когда он в последний раз исповедовался.

Мессер Шапелето хоть и никогда не исповедовался, однако ж ответил ему так: «Отец мой! Раз в неделю я уж непременно исповедуюсь, а иногда и чаще, но на этой неделе я по болезни ни разу не исповедовался – так меня скрутило».

Монах ему на это сказал: «Похвально, сын мой, поступай так и впредь. Раз ты так часто исповедаешься, стало быть, ничего особенного я от тебя не услышу и не о чем мне тебя особенно расспрашивать».

Мессер Шапелето возразил: «Не скажите, честной отец. Сколько и как часто я бы ни исповедовался, я не оставлял намерения принести покаяние во всех грехах, какие я только сумею припомнить, во всех грехах, совершенных мною со дня моего рождения и по день последней исповеди. Того ради прошу вас, святой отец: спрашивайте меня так подробно, как если бы я никогда в жизни не исповедовался. На мой недуг не обращайтесь внимания – я предпочитаю чем-либо досадить своей плоти, нежели, улаживая ее, содействовать гибели моей души, которую Искупитель спас, пролив пречистую кровь свою».

Такие речи пришлось по нраву святому отцу, ибо он принял их за знак благонамеренности болящего. Весьма одоблив таковое его умонастроение, он обратился к нему с вопросом, не впал ли он в блуд, согрешив с какою-либо женщиной.[14 - ...не впал ли в блуд, согрешив с какой-либо женщиной. – Этот и все другие вопросы, задаваемые монахом, чередуются в строгой последовательности, предписанной церковью.]

Мессер Шапелето со вздохом молвил: «Отец мой!

Тут я стыжусь сказать вам правду – боюсь, как бы не впасть в грех тщеславия».

А святой отец ему на это: «Говори смело, – сказать правду никогда не грех: как на исповеди, так и при любых других обстоятельствах».

Тогда мессер Шапелето ему сказал: «Ну, коли так, то я вам откроюсь: я такой же точно девственник, каким вышел из чрева моей матери».

«Да благословит тебя господь! – воскликнул монах. – Похвально это с твоей стороны! И заслуга твоя тем больше, что при желании тебе легче было бы жить иначе, нежели нам, а равно и всем, кто связан каким-нибудь обетом».

Затем духовник спросил недугующего, не прогневил ли он бога чревоугодием. Тот же ему с тяжелым вздохом на это ответил, что гневил, и притом многократно, ибо если уж говорить по чистой совести, то хотя он соблюдал в течение года все посты, соблюдаемые людьми богобоязненными, и по крайней мере три дня в неделю сидел на хлебе и воде, однако ж воду он пил, в особенности – устав от долгой молитвы и от хождения по святым местам, с таким же точно наслаждением и удовольствием, с каким пьяницы пьют вино. Частенько он соблазнялся салатом из трав, который сельчанки делают, собираясь на полевые работы, а иной раз ему казалось, что он вкушает пищу с аппетитом, который, как ему кажется, не должны выказывать постящиеся в силу своей богобоязненности, а он именно так и постится.

Монах же ему сказал: «Сын мой! Это все грехи не тяжкие, сродные человеку, – особенно отягощать ими совесть не следует. Каждому человеку, сколько бы он ни был свят, яствие кажется особенно вкусным после долгого поста, питание – с устатку».

«Ах, отец мой, не утешайте меня! – воскликнул мессер Шапелето. – Ведь вы же знаете не хуже меня, что все, что мы делаем для бога, надлежит делать чистыми руками и без единого пятнышка на совести, а иначе мы берем на душу грех».

Монах возрадовался и сказал: «Ах, как меня радует направление твоих мыслей! Как приятно видеть человека с такой чистой, с такой доброй совестью! Скажи

мне, однако ж: не впадал ли ты в грех сребролюбия, не стремился ли приобрести больше, чем тебе полагалось, не удерживал ли того, что тебе не подобало удерживать?»

Мессер Шапелето ему на это ответил: «Отец мой! Мне бы не хотелось, чтобы вы судили обо мне на основании того, что я нахожусь в доме ростовщиков: у меня с ними ничего общего нет, настолько, что я и приехал сюда единственно для того, чтобы обличить их, осудить и уговорить бросить этот постыдный способ наживы, и, может статься, я бы в том и преуспел, когда бы господь меня не посетил. Да будет вам ведомо, что отец мой оставил мне богатое наследство, я же, как скоро он преставился, большую часть пожертвовал на бедных. А дабы прокормиться самому и помогать тем, кто живет Христовым именем, я стал немножко приторговывать ради хлеба насущного, однако ж неукоснительно делил прибыль пополам: половину тратил на свои собственные нужды, половину отдавал божьим людям. И за это господь мне так явно помогал, что дела мои шли все лучше и лучше». «Добро! – молвил монах. – Однако ж как часто ты гневался?»

«Ох! – воскликнул мессер Шапелето. – Надобно признаться, довольно-таки часто. Да и кто бы на моем месте сумел бы себя перебороть при виде того, как люди ежедневно чинят непотребства, не соблюдают заповедей господних и суда божьего не боятся? Несколько раз на дню говорил я себе, что лучше умереть, нежели жить и видеть юношей, помышляющих токмо о тщете земной, клянущихся и престающих клятвы, шляющихся по кабакам и не бывающих в церкви, предпочитающих стезю мирскую стезе господней».

Монах же ему на это сказал: «Сын мой! То гнев священный, и за него я на тебя епитимьи не наложу. Не было ли, однако ж, такого случая, когда бы гнев толкнул тебя на смертоубийство, подстрекнул оскорбить человека или же какую-либо другую обиду причинить?»

Тут мессер Шапелето вскричал: «Горе мне, грешному! Ведь я же вас чту как святого, а вы такие вещи говорите! Да если б я только помыслил совершить одно из тех преступлений, которые вы перечислили, – неужели вы думаете, что всевышний тотчас не послал бы по мою душу? На такие вещи способны разбойники, лихие люди; я же всякий раз, когда мне приходилось с кем-либо из них сталкиваться, говорил: «Ступай! Да обратит тебя господь!»

Монах же ему сказал: «Благословение божие да пребудет с тобою, сын мой; поведай мне, однако ж, не лжесвидетельствовал ли ты, не злословил ли, не отбирал ли чужое добро?»

«Так, ваше высокопреподобие, я злословил, – признался мессер Шапелето. – Был у меня сосед, изверг естества, то и дело избивавший свою жену. Однажды я дурно о нем отозвался в разговоре с ее родственниками – так жаль мне стало бедняжку: он, бывало, хватит лишнего – и давай колотить ее чем ни попадя».

Монах же ему сказал: «Добро! Ты мне, однако ж, признался, что был купцом. Так вот, не обманывал ли ты покупателей, как то водится за купцами?»

«Грешен, ваше высокопреподобие, – отвечал мессер Шапелето, – вот только я не знаю, кого именно я обсчитал: кто-то принес мне деньги за проданное сукно, и я, не пересчитав, запер их в сундук, а месяц спустя обнаружил в сундуке на четыре гроша больше, чем должно было быть. Целый год я хранил эти деньги в надежде возвратить покупателю, но покупатель исчез, и в конце концов я употребил их на богоугодные дела».

Монах же на это сказал: «Сумма незначительная, и ты распорядился ею разумно».

Помимо этого святой отец расспрашивал и о многом другом, а мессер Шапелето на все отвечал в том же духе. Духовник совсем уж было собрался отпустить ему все его прегрешения, как вдруг мессер Шапелето обратился к нему с такими словами: «Ваше высокопреподобие! Я вам еще про один грех не сказал».

Монах осведомился, про какой именно, и тот ему сказал: «Я припоминаю, что однажды велел моему слуге подмести пол в субботу по истечении третьего часа, – тем самым я выказал неуважение к воскресному дню».

«А, сын мой, это пустяки!» – молвил монах.

«Не скажите, – возразил мессер Шапелето, – воскресный день должно особенно чтить, поелику он установлен в память воскресения господина нашего Иисуса Христа».

Монах же его спросил: «Не совершил ли ты какого-либо другого греха?»

«Как же, совершил, ваше высокопреподобие, – отвечал мессер Шапелето. – Однажды я по рассеянности плюнул в божьем храме».

Монах усмехнулся и сказал: «Об этом не сокрушайся, сын мой. Мы – монахи, и то каждодневно плюем в церкви».

Мессер Шапелето ему на это сказал: «И прескверно делаете: святой храм надлежит держать в совершенной чистоте, понеже в нем приносится жертва богу».

Подобиях грешков у мессера Шапелето набралось многое множество, а под конец он принялся вздыхать и горько плакать, вздохи же и плач он изображал отлично, как скоро ему в том представлялась надобность.

Святой отец спросил его: «Что с тобою, сын мой?»

А мессер Шапелето ему ответил: «Увы мне, ваше высокопреподобие! Есть еще один грех на моей душе, я в нем никогда не каялся, оттого что мне было очень стыдно. Стоит мне вспомнить о нем – и я, как видите, обливаюсь слезами, ибо я убежден, что господь не простит его мне». Святой отец же ему на это сказал: «Полно, сын мой, что ты говоришь? Если бы даже все грехи, до сих пор совершенные людьми, а равно и те, которые будут совершены до скончания века, совершил один человек, и человек тот каялся бы и сокрушался, как ты, то господь по великому милосердию и человеколюбию своему охотно простил бы его – при условии, что тот ничего бы от него не утаил. Говори, не бойся».

Но мессер Шапелето, все так же громко стелая, ему сказал: «Увы мне, честной отец! Велико мое согрешение, и если только вы за меня не помолитесь, то господь, пожалуй, меня не простит».

А монах ему на это: «Говори, не бойся, я за тебя помолюсь».

Мессер Шапелето, однако ж, рыдал и не произносил ни слова, а монах уговаривал его. Долго рыдал мессер Шапелето и наконец, доведя монаха до томленья, с глубоким вздохом молвил: «Отец мой! Коль скоро вы обещали за

меня помолиться, я вам скажу все. Знайте же, что в детстве я однажды обругал мать». И, сказавши это, он еще громче заплакал.

А монах ему: «Сын мой! И это тебе представляется великим грехом? Другие с утра до ночи богохульствуют, и господь охотно их прощает, если только они раскаялись. Неужели же ты думаешь, что он не простит тебя? Не плачь, утешься! Можешь мне поверить, что если даже ты был бы одним из тех, кто распял его на кресте, все равно он бы тебя простил – я вижу твое искреннее раскаяние».

А мессер Шапелето ему возразил: «Увы мне, отец мой! Что вы говорите! Моя милая маменька в продолжение девяти месяцев денно и ночью носила меня во чреве своем, а затем сто раз носила меня на руках! Как не совестно было мне бранить ее, какой это тяжкий грех! Если вы за меня не помолитесь, он мне никогда не простится».

Когда монах увидел, что мессеру Шапелето больше сказать нечего, он отпустил ему грехи и благословил его, – он вполне поверил, что мессер Шапелето говорил сущую правду, и признал его за святого человека. Да и кто бы не поверил исповеди умирающего?

Итак, выслушав его, монах сказал: «Мессер Шапелето! С божьей помощью вы скоро поправитесь. Однако ж, если бы так случилось, что господь призвал к себе вашу чистую, готовую предстать перед ним душу, не рассудите ли вы за благо, чтобы тело ваше было погребено в нашей обители?»

Мессер Шапелето ответил ему так: «Да, ваше высокопреподобие. Лучшего места упокоения я и желать бы не мог: ведь вы обещали молиться за меня, а кроме того, я всегда испытывал особое уважение к вашему ордену. Посему прошу вас: как скоро вы возвратитесь в священную вашу обитель, соблаговолите распорядиться, чтобы мне принесли самое пречистое тело Христово, которое вы ежеутренне освящаете на престоле, ибо хотя я и сознаю свое недостойство, а все же надеюсь с вашего благословения причаститься и собороваться, – при жизни я немало нагрешил, а умереть хочу по-христиански».

Честной отец с превеликой охотой согласился, одобрил его намерение и обещал, что святые дары будут ему незамедлительно доставлены. Как сказано, так и сделано.

Меж тем братья, боясь, как бы мессер Шапелето не надул их, расположились за переборкой, отделявшей их комнату от той, где лежал мессер Шапелето, начали подслушивать и без труда уловили и уразумели все, о чем мессер Шапелето говорил монаху. Слушая его исповедь, они давились хохотом и говорили друг дружке: «Каков! Ни старость, ни болезнь, ни ужас близкой кончины, ни страх от сознания, что через какой-нибудь час он предстанет пред судом Божиим, – ничто не в состоянии исправить порочный его нрав: злодеем прожил всю свою жизнь, злодеем и умирает». Узнав, однако же, что его обещали похоронить в монастыре, братья успокоились.

Малое время спустя мессер Шапелето причастился, а когда ему стало совсем плохо – соборовался. Отошел он вскоре после вечерни в тот самый день, когда он так чистосердечно покаялся в грехах. По сему случаю братья, заранее позаботившись о торжественных похоронах – на его же деньги – и послав за монахами, чтобы они, как полагается, вечером отслужили панихиду, а утром отпели покойного, приготовили все, что для этого требуется. Исповедовавший усопшего честной отец, узнав об его кончине, переговорил с настоятелем монастыря и, колокольным звоном созвав всю братию на капитул, объявил, что, судя по тому, как мессер Шапелето исповедовался, этот человек святой. Вдобавок он выразил надежду, что вседержатель через него множество явит чудес и что братия примет его останки с превеликою честью и благоговением. Настоятель и легковверные иноки изъявили согласие. Вечеру они отправились в дом, где лежало тело мессера Шапелето, отслужили по нем длинную торжественную панихиду, а утром облачились в стихари и ризы и с крестом и Евангелием, распевая зауспокойные песнопения, двинулись за телом и с превеликою пышностью и торжественностью, сопровождаемые почти всеми жителями города, как мужеского, так равно и женского пола, перенесли прах в церковь. Когда же гроб поставили в церкви, духовник с амвона начал рассказывать чудеса о покойном и об его житии, об его постничестве, девственности, простоте, чистосердечии, святости и между прочим сообщил, в чем мессер Шапелето, обливаясь слезами, каялся как в самом тяжком своем грехе и как он, духовник, насилу втолковал ему, что господь этот грех простит, а затем, обратившись с укором к внимавшим ему, воскликнул: «А вы, окаянные, из-за какой-нибудь несчастной соломинки, попавшей вам под ноги, хулите бога, мать божью и весь чин ангельский!» Долго еще говорил он о непорочности и душевной чистоте усопшего. И вскоре он своею проповедью, которую прихожане приняли на веру, внушил им такое благоговение к покойному, что по окончании службы началась неопикуемая давка: все бросились лбызать нозы и руце усопшего, разорвали на нем одежду, и кому достался клочок ее, тот почитал себя за счастливца. Пришлось на день оставить гроб в церкви, дабы все могли

прийти и улицезреть покойного. Когда же настала ночь, его с подобающими почестями похоронили в склепе, в мраморной гробнице, а на другой день к гробнице начал притекать народ: ставили свечи, молились, давали обеты, вешали по обещанью восковые изображения. И так быстро разнеслась молва о святости новопреставленного, так его начали чтить, что почти не осталось человека, который в беде обращался бы к другому святому, а не к нему. И называли его и зовут до сих пор «святой Шапелето» и утверждают, что господь через него явил уже много чудес и продолжает ежедневно являть их всем, кто с верою прибегает к нему.

Так жил, умер и был, как вы знаете, причислен к лику святых мессер Чеппарелло из Прато. Я допускаю, что он удостоился вечного блаженства и вошел в рай, ибо хотя и вел он жизнь порочную и беспутную, однако ж перед смертью он, может статься, так сокрушался о грехах своих, что господь умилился и не лишил его небесного своего царствия. Но сие есть тайна; если же исходить из того, что разумению нашему доступно, я стою на том, что ему скорее подобает быть в когтях дьявола, на вечную муку осужденным, нежели находиться в раю. А когда так, то господь являет к нам великую милость, ибо, возрев не на наше заблуждение, а на чистоту веры нашей, и не вменив нам во грех, что мы сделали нашим заступником его врага, коего мы приняли за друга, он внемлет нашим мольбам с таким же участием, как если бы мы избрали своим молитвенником истинного святого. А посему, дабы по его милосердию мы в сию годину бедствий[15 - ...дабы по его милосердию мы в сию годину бедствий... - Речь идет о чуме.] пребывали здоровыми и невредимыми в веселом этом обществе, восхвалим того, в чье имя мы здесь собрались, восславим его и предадим себя его воле, твердо уповая, что он нас услышит.

И тут рассказчик умолк.

Новелла вторая

- Панфило своею повестью доказал, что господь по милосердию своему не ставит нам в вину заблуждения, в которые мы впадаем по неведению; я же намереваюсь доказать, что господь, по милосердию своему терпящий пороки

людей, которые всеми своими поступками и речами должны бы неложно свидетельствовать о нем, а поступают как раз наоборот, тем самым подает нам знак несомненности своего милосердия, дабы мы еще неуклоннее шествовали путем, предначертанным для нас нашею верою.

По дошедшим до меня слухам, обворожительные дамы, в Париже проживал богатый купец Джаннотто ди Чивиньи; [16 - ...Джаннотто ди Чивиньи... - Речь, по-видимому, идет о том, что человек этот был родом из местечка Шовиньи или Шевиньи.] человек он был добрый, наичестнейший и справедливый, вел крупную торговлю сукнами и был в большой дружбе с иудеем по имени Абрам, тоже купцом, богачом, человеком справедливым и честным. Зная справедливость его и честность, Джаннотто сильно сокрушался, что душа этого достойного, рассудительного и хорошего человека из-за его неправой веры погибнет. Дабы этого не случилось, Джаннотто на правах друга начал уговаривать его отойти от заблуждений веры иудейской и перейти в истинную веру христианскую, которая, именно потому что это вера святая и правая, на его глазах процветает и все шире распространяется, тогда как его, Абрама, вера, напротив того, оскудевает и сходит на нет, в чем он также имеет возможность убедиться.

Иудей отвечал, что, по его разумению, вера иудейская - самая святая и самая правая, что в ней он рожден, в ней намерен жить и умереть и что нет такой силы, которая могла бы его принудить отказаться от своего намерения. Джаннотто, однако же, на том не успокоился и нескол око дней спустя вновь повел с иудеем такую же точно речь и начал в грубоватой форме, как то водится у купцов, доказывать ему, чем наша вера лучше иудейской. Иудей отлично знал догматы своей веры, однако ж то ли из лучших чувств, которые он питал к Джаннотто, то ли на него подействовали слова, вложенные святым духом в уста простого человека, но только он начал очень и очень прислушиваться к доводам Джаннотто, хотя по-прежнему твердо держался своей веры и не желал оставлять ее.

Итак, иудей упорствовал, а Джаннотто наседавал на него до тех пор, пока наконец иудей, сдавшись на уговоры, сказал: «Ин ладно, Джаннотто. Тебе хочется, чтобы я стал христианином, - я готов, с условием, однако ж, что прежде я отправлюсь в Рим и погляжу на того, кто, по твоим словам, является наместником бога на земле, понаблюдаю, каков нрав и обычай у него самого, а также у его кардиналов. Если они таковы, что я на их примере познаю, равно как заключу из твоих слов, что ваша вера лучше моей, - а ведь ты именно это старался мне доказать, - я поступлю согласно данному тебе обещанию; если ж нет, то я как

был иудеем, так иудеем и останусь».

Послушав такие речи, Джаннотто сильно приуныл и сказал себе: «Тщетны все мои усилия, а между тем мне казалось, что они не напрасны, я был убежден, что уже обратил его. И то сказать: если Абрам съездит в Рим и там насмотрится на окаянство и злонравие духовных лиц, то ни за что не перейдет в христианскую веру, – какое там: если б даже он и стал христианином, то потом все равно вернулся бы в лоно веры иудейской». Затем, обратясь к иудею, молвил: «Послушай, дружище: поездка в Рим утомительна и сопряжена с большими расходами – зачем тебе туда ездить? Я уже не говорю об опасностях, подстерегающих такого богача, как ты, на суше и на море. Неужто здесь некому тебя окрестить? Пусть даже у тебя остались сомнения в христианской вере, хотя я тебе, кажется, все растолковал, – где же еще, как не здесь, найдешь ты столь великих ученых и таких мудрецов, которые разъяснят тебе все твои недоумения и ответят на все твои вопросы? По мне, ехать тебе не след. Поверь: прелаты там такие же точно, как здесь, а если и лучше, то разве лишь тем, что они ближе к верховному вождю. Словом, советую тебе поберечь силы для путешествия за индульгенцией – тогда, может статься, и я составлю тебе компанию».

Иудей же ему на это сказал: «Я верю тебе, Джаннотто, однако ж, коротко говоря, я решился ехать ради того, чтобы исполнить твое желание; в противном случае я не обращаюсь».

Джаннотто, видя его непреклонность, молвил: «Ну что ж, счастливого пути», а про себя подумал, что если только он поглядит на римский двор, те христианином ему не быть, однако, поняв, что его не уломать, порешил больше его не отговаривать.

Иудей сел на коня и с великой поспешностью поехал в Рим, а как скоро он туда прибыл, тамошние иудеи приняли его с честью. Он никому ни слова не сказал о цели своего путешествия и стал украдкой наблюдать, какой образ жизни ведут папа, кардиналы, другие прелаты и все придворные. Из того, что он заметил сам, – а он был человек весьма наблюдательный, – равно как из того, что ему довелось услышать, он вывел заключение, что все они, от мала до велика, открыто распутничают, предаются не только разврату естественному, но и впадают в грех содомский, что ни у кого из них нет ни стыда, ни совести, что немалым влиянием пользуются здесь непотребные девки, а равно и мальчишки и что ежели кто пожелает испросить себе великую милость, то без их посредничества не обойтись. Еще он заметил, что здесь все поголовно обжоры,

пьянчуги, забулдыги, чревоугодники, ничем не отличающиеся от скотов, да еще и откровенные потаскуны. И чем пристальнее он в них вглядывался, тем больше убеждался в их алчности и корыстолюбии, доходившем до того, что они продавали и покупали кровь человеческую, даже христианскую, и всякого рода церковное имущество, будь то утварь или же облачение, всем этим они бойко торговали, посредников по этой части было у них больше, чем в Париже торговцев сукном или же еще чем-либо, и открытая симония называлась у них испрашиванием, обжорство – подкреплением, как будто богу не ясны значения слов, – да он видит и намерения злых душ, так что наименованиями его не обманешь! Все это, вместе взятое, а равно и многое другое, о чем мы лучше умолчим, было противно иудею, ибо он был человек воздержанный и скромный, и, полагая, что насмотрелся вдоволь, он порешил возвратиться в Париж, что и было им исполнено. Джаннотто, как скоро узнал об его приезде, поспешил к нему, хотя меньше всего рассчитывал на его обращение в христианство, и они очень друг другу обрадовались. Джаннотто дал иудею несколько дней отдохнуть, а затем приступил к нему с вопросом, как ему понравились святейший владыка, кардиналы и другие придворные.

Иудей не задумываясь ответил: «Совсем не понравились, разрази их господь! И вот почему: по моим наблюдениям, ни одно из тамошних духовных лиц не отличается ни святостью, ни богобоязненностью, никто из них не благоденствует, никто не подает доброго примера, словом, ничего похожего я не усмотрел, а вот любострастие, алчность, чревоугодие, корыстолюбие, зависть, гордыня и тому подобные и еще худшие пороки, – если только могут быть худшие пороки, – процветают, так что Рим показался мне горнилом адских козней, а не горнилом богоугодных дел. Сколько я понимаю, ваш владыка, а глядя на него, и все прочие стремятся свести на нет и стереть с лица земли веру христианскую, и делают это они необычайно старательно, необычайно хитроумно и необычайно искусно, меж тем как им надлежит быть оплотом ее и опорой. А выходит-то не по-ихнему: ваша вера все шире распространяется и все ярче и призывней сияет, – вот почему для меня не подлежит сомнению, что оплотом ее и опорой является дух святой, ибо эта вера истиннее и святее всякой другой. Я долго и упорно не желал стать христианином и противился твоим увещаниям, а теперь я прямо говорю, что непременно стану христианином. Идем же в церковь, и там ты, как велит обряд святой вашей веры, меня окрестишь».

Джаннотто ожидал совсем иной развязки; когда же он услышал эти слова, то радости его не было границ. Он пошел с иудеем в Собор Парижской Богоматери и попросил священнослужителей окрестить Абрама. Те исполнили его просьбу незамедлительно. Джаннотто был его восприемником и дал ему имя – Джованни,

а затем поручил достойным людям наставить его в нашей вере, и тот в скором времени вполне ею проникся и всегда потом был добрым, достойным, святой жизни человеком.

Новелла третья

Рассказ Нейфилы заслужил всеобщее одобрение, а затем по желанию королевы начала Филомена:

– Рассказ Нейфилы привел мне на память опасное происшествие, случившееся с одним евреем.[17 - ...происшествие, случившееся с одним евреем. – Парабола о мудром еврее имела широкое хождение в эпоху средневековья, и содержание ее мало рознилось от рассказа Боккаччо.] Здесь уже было сказано много прекрасных слов и о боге, и об истинности нашей веры, так что если мы теперь снизойдем к делам и поступкам смертных, то в этом не будет ничего предосудительного, – вот я и хочу рассказать вам об этом, вы же, выслушав меня, станете осторожнее в ответах на вопросы, с коими могут к вам обратиться.

Надобно вам знать, любезные подруги, что глупость часто выводит людей из блаженного состояния и низвергает в пучину зол, тогда как разум вызволяет мудрого из пучины бедствий и дарует ему совершенный и ненарушимый покой. Что из-за глупости человек, благополучием наслаждавшийся, впадает в ничтожество, это явствует из множества примеров, однако ж приводить их за нынешней нашей беседой нет смысла, оттого что мы ежедневно наблюдаем тысячи подобных случаев, а вот что разум приходит на выручку – это, как я и обещала, будет видно из короткого моего рассказа.

Доблесть Саладина[18 - Доблесть Саладина... – Саладин (1137–1193) – каирский султан, отвоевавший Иерусалим у христиан (1187). В литературе европейского средневековья и в народных преданиях он пользовался (особенной популярностью. (С Саладином связана и новелла 9 десятого дня «Декамерона».)] была столь велика, что он, некогда прозябавший в неизвестности, стал султаном вавилонским, более того: он одержал над королями христианскими и

сарацинскими немало побед, однако же частые войны и та роскошь, какую он себя окружал, истощили его казну, а тут ему вдруг понадобилась изрядная сумма, и он долго ломал себе голову, где бы достать деньги, которые нужны были ему позарез, и наконец вспомнил про одного богатого еврея по имени Мельхиседек,[19 - ...по имени Мельхиседек... – Распространенное еврейское имя, означающее «царь справедливости».] проживавшего в Александрии и занимавшегося ростовщичеством. «Вот кто, – подумал он, – при желании мог бы ссудить нужную сумму». Ростовщик, однако, был скуп, по доброй воле не дал бы ему займы, чинить же над ним насилие Саладину не хотелось, но, вынужденный к тому крайнею необходимостью, раскидывая умом, как бы заставить еврея прийти ему на помощь, он в конце концов порешил прибегнуть к насилию, но под маской пытливости своего ума.

Саладин послал за евреем, встретил его радушно и, усадив рядом с собою, сказал: «Доблестный муж! Мне говорили, что ты мудрец, что в богопознании ты опередил многих, и мне бы хотелось от тебя услышать: какой из трех законов считаешь ты за истинный – иудейский, сарацинский или же христианский?»

Еврей и в самом деле был человек мудрый, и он, живо смекнув, что Саладин хочет поймать его на слове, дабы прицепиться к нему, порешил ни одной из трех вер предпочтению не оказывать, – тогда, мол, Саладин цели своей не достигнет. Он напряг мысль в поисках такого ответа, который бы его не подвел, быстро нашелся и сказал: «Государь мой! Вопрос, который вы мне задали, глубокомыслен. Дабы изъяснить вам, что я на сей предмет думаю, я считаю не излишним предложить вашему вниманию одну историю. Если память мне не изменяет, мне часто приходилось слышать об одном знатном и богатом человеке, в чьей сокровищнице среди прочих дорогих вещей хранился дивный и дорогой перстень. Желая отличить сей перстень за его доброту и красоту, желая, чтобы перстень переходил из рода в род, он сделал следующее распоряжение: тот из его сыновей, которому он завещает перстень, должен быть признан за его наследника, и всем остальным надлежит почитать и уважать его как старшего в роде. Тот, у кого оказался перстень, поступил по отношению к своим потомкам так же точно, как его предшественник. За короткое время перстень сменил многих владельцев и в конце концов достался человеку, у которого было три прекрасных и благонравных сына, во всем послушных своему отцу, за что отец и любил их всех трех одинаково. Молодым людям был известен порядок наследования перстня, принятый у них в семье, и потому каждый, желая быть отмеченным перед другими, просил-молил уже престарелого отца, чтобы тот по завещанию оставил перстень ему. Добрый человек любил их всех одинаково, и не знал, на ком остановить выбор; он

каждому из них дал слово завещать перстень и теперь не знал, кому же все-таки его оставить, но в конце концов рассудил за благо устроить так, чтобы все трое были довольны: он тайно заказал одному искусному ювелиру изготовить два таких же точно перстня, и они до того оказались похожи на первый, что сам заказчик после с трудом их различал. Перед смертью он каждому сыну, втайне от других, вручил по перстню. После кончины отца все трое притязали на его наследство и почет, и каждый, отводя домогательства другого, как доказательство неотъемлемости своих прав предъявлял перстень. Перстни были так похожи, что никто не мог определить, какой же из них подлинный, и вопрос о том, кто наследует отцу, остался открытым и таковым остается он даже до сего дня. То же самое, государь мой, да будет мне позволено сказать и о трех законах, которые бог-отец дал трем народам и о которых ты обратился ко мне с вопросом: каждый народ почитает себя наследником, обладателем и исполнителем истинного закона, открывающего перед ним путь правый, но кто из них им владеет – этот вопрос, подобно вопросу о трех перстнях, остается открытым».

Саладин вынужден был признать, что еврей отличнейшим образом сумел выбраться из западни, расставленной у самых его ног, и порешил прямо сказать ему о своей крайности и попросить о помощи. Так он и сделал, не утаив от еврея, что он, Саладин, замышлял над ним учинить, если бы еврей не ответил столь хитроумно. Еврей охотно ему требуемую суммою услужил, а Саладин потом вернул ее сполна, да еще по-царски еврея одарил, водил с ним дружбу и приблизил к себе, предоставив ему высокий и почетный пост.

Новелла четвертая

Как скоро Филомена умолкла, сидевший рядом с ней Дионео, не дожидаясь особого распоряжения королевы, ибо знал, что по заведенному порядку теперь его очередь, начал свой рассказ так:

– Любезные дамы! Если я правильно понял общее желание, мы собрались сюда для того, чтобы развлекать друг друга рассказами. Следственно, я полагаю, что всякому, кто условия этого не нарушает, позволительно, – и об этом нам только

что сказала королева, – рассказать о том, что, как ему кажется, доставило бы нам особое наслаждение. Мы слышали, как Абрам спас свою душу благодаря добрым советам Джаннотто ди Чивиньи и как пронизательность Мельхиседека уберегла его богатство от силков Саладиновых, а теперь я намерен в коротких словах рассказать, как один монах, выказав находчивость, избегнул строжайшего наказания, и ласкаю себя надеждой, что упреков с вашей стороны не заслужу.

Неподалеку отсюда, в Луниджане, находится монастырь, где прежде было больше благочестия и больше монахов, чем теперь, и жил там молодой монах, крепость и пылкость которого ни посты, ни ночные бдения не могли умертвить. И вот как-то раз в полдень, когда все монахи спали и только он один бродил вокруг церкви, случайно увидел он хорошенькую девушку, – по всей вероятности, дочь хлебопашца, местного уроженца, – она собирала на лугу травы. Как скоро он ее увидел, тотчас распалился плотскою похотью. Он приблизился к ней, заговорил, слово за слово – они пришли к соглашению, и он неприметно увел ее к себе в келью.

Случилось, однако ж, что в то время, как он, охваченный страстью, беззаботно с девушкой забавлялся, восставший от сна аббат неслышною стопою проходил мимо его кельи, и ушей его достигнул шум, ими обоими производимый. Дабы различить голоса, аббат подкрался к дверям кельи, прислушался и, совершенно удостоверившись, что в келье находится женщина, чуть было не поддался великому искушению крикнуть, чтобы ему отворили, однако ж передумал и, возвратившись к себе в келью, стал ждать, когда монах выйдет. Монах же, утопая в неге и блаженстве с девицею, все время был начеку, и когда ему послышались в коридоре шаги, он, прильнув к щелочке, явственно увидел подслушивающего аббата и пришел к непреложному заключению, что аббат не мог не догадаться, что в келье находится женщина. При мысли, что ему не миновать тяжкой кары, он в глубине души сильно приуныл, однако девушке вида не показал, а начал перебирать в уме различные средства, не найдется ли меж ними средства спасительного; тут ему пришла в голову хитроумная уловка, и вот она-то и привела его прямым путем к желанной цели.

Сделав вид, будто он достаточно насладился обществом девицы, он сказал ей: «Пойду погляжу, нет ли кого, – как бы тебя не увидели, – а ты сиди смирно, пока я не вернусь».

Выйдя из кельи и замкнув ее на ключ, он пошел прямо к аббату и, отдав ему ключ от своей кельи, как всегда делали монахи перед уходом, сказал, не моргнув глазом: «Ваше высокопреподобие! Нынче утром я не успел распорядиться, чтобы вам доставили дрова, которые я велел для вас нарубить, – по сему случаю благословите меня пойти сейчас в лес».

Аббат, желая воочию убедиться в поступке, который был совершен монахом, и будучи уверен, что монах находится в блаженном неведении, таковому обстоятельству обрадовался, охотно взял у него ключ и не менее охотно отпустил его в лес. Когда же монах удалился, аббат стал думать, что лучше: при всей братии отпереть келью и вывести монаха на чистую воду, дабы потом, когда он подвергнет его наказанию, у них не было повода роптать на своего аббата, или же сначала выпытать у девицы, как обстояло дело. Поразмыслив, он заколебался: а вдруг это такая женщина либо дочь такого человека, которую он вовсе не желал бы осрамить, выставив на поглядение монахам? И положил аббат сперва узнать, кто она такая, а потом уже принять то или иное решение. На цыпочках приблизившись к келье, он отпер дверь, а войдя, тотчас запер ее за собой. Увидев аббата, девушка обомлела, и от одной мысли, что ей грозит позор, из глаз у нее хлынули слезы.

Его высокопреподобие окинул ее взглядом и, уверившись, до чего она свежа и хороша собой, ощутил, несмотря на преклонный возраст, не менее сильное плотское влечение, чем юный монах; ощутив же, он про себя подумал: «Неприятностей и огорчений у нас сколько угодно, так почему бы мне не изведать наслаждение, коль скоро я могу себе его доставить? Девушка премиленькая, о том, что она здесь, не знает ни одна душа, – что же мне мешает насладиться ею, если только мне удастся ее уговорить? Кто про это узнает? Никто никогда не узнает, а грех утаенный – наполовину прощенный. Подобный случай может больше и не представиться; если же творец ниспосылает благо, было бы величайшим безумием не воспользоваться таковым».

В сих мыслях аббат, окончательно изменив первоначальному своему решению, приблизился к девице и, ласково заговорив с нею, принялся утешать ее, успокаивать и в конце концов объяснил, чего он от нее хочет. Девица была сделана не из железа и не из алмаза, а потому довольно скоро покорилась аббату. Заключив ее в объятия и вдоволь нацеловавшись, аббат взгромоздился на кровать монаха и, приняв в соображение свою весомость, соответствовавшую тому высокому сану, в каком он находился, а равно и нежный возраст девицы, боясь, по всей вероятности, задавить ее своим весом, не возлег на нее, а ее

возложил на себя и так в течение долгого времени ею тешился.

Монах, якобы ушедший в лес, на самом деле спрятался в коридоре, и как скоро он увидел, что аббат вошел в келью один, то, убедившись, что его расчет оправдывается, вполне успокоился; когда же он услышал, что аббат запер за собою дверь, то у него не осталось никаких сомнений, что расчет его верен. Выйдя из тайника, он прокрался к двери своей кельи, и через щель ему было видно и слышно все, что аббат делал и говорил. Между тем аббат, почувствовав, что на сей раз с него довольно, запер в келье девушку и удалился к себе. А немного погодя он услышал шаги монаха и, решив, что тот явился из лесу, положил разбранить его и заключить в темницу, с тем чтобы безраздельно владеть добычей. Послав за ним, он с высоты своего величия, грозно сверкая глазами, на него обрушился и велел идти в темницу.

Монах же незамедлительно ему на это сказал: «Ваше высокопреподобие! Я совсем недавно вступил в бенедиктинский орден и все его особенности превзойти не успел, вы же мне до сих пор наглядно не показывали, что монаху подобает не только быть под началом у старшего, но и быть под женщиной. Нынче вы мне это показали наглядно, и если вы меня простите, то я вам обещаю больше никогда правило это не преступать и действовать так, как на моих глазах действовали вы».

Аббат, будучи человеком сообразительным, живо смекнул, что монах не только его перехитрил, но и видел все, что он вытворял. Устыдившись своего проступка, аббат поостерегся подвергать монаха наказанию, которое он и сам заслужил. Он простил его, велел не болтать о том, что ему довелось увидеть, а затем они неслышно вывели девушку и потом, должно думать, не раз ее к себе приводили.

Новелла пятая

Рассказ Дионео поначалу слегка смутил слушательниц, о чем свидетельствовала краска стыда, проступившая на их лицах; однако ж, переглядываясь, фыркая и давясь хохотом, они его кое-как дослушали. Когда же Дионео досказал, они

ласково пожурили его, что-де, мол, дамам рассказывать такие вещи негоже, а королева обратилась к Фьямметте, сидевшей на травке подле нее, и сказала, что теперь ее очередь. Фьямметта с очаровательной приятностью начала свой рассказ так:

- Во-первых, повести наши доставляют мне особое удовольствие тем, что они доказывают, как много значит остроумный и быстрый ответ; во-вторых, я убеждена, что если высшая мудрость мужчины заключается в том, чтобы неукоснительно добиваться благосклонности женщины более знатной, нежели он, то наивысшая осмотрительность женщины состоит в том, чтобы суметь уберечься от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее,[20 - ...уберечься от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее... - Рекомендация, часто встречаемая в средневековой любовной литературе.] - это-то и навело меня на мысль, приятные дамы, рассказать вам повесть, из коей будет явствовать, как именно, с помощью каких поступков и речей некая благородная дама сумела от чего-то уберечься, а что-то притушить.

Маркиз Монферратский,[21 - Маркиз Монферратский... - По-видимому, Боккаччо имеет здесь в виду Коррадо дельи Алерамичи, одного из самых предприимчивых вождей третьего крестового похода (1189-1192).] доблестный муж, гонфалоньер церкви, приняв участие в крестовом походе, вместе с другими христианами отправился воевать в страны заморские. Когда речь о его доблести зашла при дворе Филиппа Кривого,[22 - ...при дворе Филиппа Кривого... - Речь идет о французском короле Филиппе Августе (1165-1223), который вместе с Фридрихом Барбароссой и Ричардом Львиное Сердце возглавлял третий крестовый поход.] также собиравшегося в поход, один из рыцарей высказал мнение, что во всей подсолнечной не сыскать другой такой четы, как маркиз и его супруга, ибо он выделяется среди прочих рыцарей своею доблестью, она же - самая красивая и самая достойная женщина в мире. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда в жизни маркизы не видев,[23 - ...никогда в жизни маркизы не видев... - Мотив влюбленности на основании молвы был чрезвычайно распространен в средневековой любовной литературе.] он воспылал к ней внезапною страстью и положил нимало не медля выступить в поход, для чего сел на корабль в Генуе, до Генуи же следовать сухопутьем, дабы иметь благовидный предлог посетить маркизу, а так как маркиз отсутствовал, то король был уверен в успехе. Замысел свой он не преминул привести в исполнение. Приказав войску двигаться вперед, он двинулся в путь с небольшой свитой и, приблизившись к поместью маркиза, послал сказать его супруге, чтобы она ждала его завтра к обеду.

Рассудительная и сметливая маркиза велела в самых учтивых выражениях ответить ему, что, мол, добро пожаловать, что это для нее честь неслыханная. Но потом ей все-таки показалось странным: что бы это значило, что король вознамерился посетить ее в отсутствие мужа? Она пришла к мысли, что его привела к ней молва об ее красоте, и в своем предположении не ошиблась. Со всем тем, будучи женщиною бесстрашною, порешила она принять короля с честью и, послав за добрыми людьми, не пошедшими на войну, по их совету отдала надлежащие распоряжения; что же касается обеда и съестных припасов, то это она взяла на себя. Она велела изловить всех кур в округе, а поварам своим наказала изготовить блюда для королевского стола только из этих самых кур. Итак, в назначенный день прибыл король, и маркиза встретила его с великою торжественностью и честью. Как же скоро король увидел ее, она показалась ему несравненно прекраснее, добронравнее и благовоспитаннее, нежели он представлял ее себе со слов рыцаря, и он не мог налюбоваться ею и превозносил ее до небес, чувство же его к ней тем быстрее росло, чем яснее ему становилось, что маркиза превзошла все его ожидания. Отдохнувши в покоях, разубранных ради такого почетного гостя, король вышел к обеду и сел рядом с маркизой, прочие же сели за другие столы, заняв места соответственно своему званию.

Король, в восторге от многочисленных перемен блюд, а равно и от тонких, дорогих вин, бросал на прекраснейшую маркизу восхищенные взоры. Блюда тем временем сменялись одно другим, и в конце концов король подивился тому обстоятельству, что хоть они и разные, но все до одного – из кур. Между тем король знал, что эти места обильны всякого рода дичью; коль же скоро он заранее упредил маркизу о своем прибытии, – значит, у нее было время послать людей поохотиться; однако, сколь ни был король изумлен, а все ж порешил завести разговор с маркизой касательно одних только кур. Того ради, обратясь к маркизе, он с улыбкой спросил ее: «Госпожа моя! Разве здесь у вас водятся только куры, а петухов нет?»

Маркизе был вполне понятен вопрос короля, однако ж, сообразив, что сам господь предоставляет ей сейчас возможность высказаться, она, не моргнув глазом, ответила королю: «Как же, государь, петухи у нас водятся, – вот потому-то наши курочки в чужих петухах и не нуждаются».

Послушав такие речи, король тотчас уразумел сокровенный их смысл; убедившись же, что уговаривать такую женщину – значит бросать слова на ветер, а силой с ней тоже ничего не поделаешь, король склонился к мысли, что

если он безрассудно воспылил к маркизе страстью, зато он поступит мудро и к вящей своей чести, если безумный ее пламень погасит. Оставив всякую надежду и убоявшись ответов маркизы, он, уже не подшучивая над нею, продолжал обедать. Как же скоро обед пришел к концу, король, дабы скорым отъездом прикрыть неблаговидную цель своего прибытия, поспешил поблагодарить маркизу за оказанный ему прием, она поручила его воле божией, и он проследовал в Геную.

Новелла шестая

После того как все похвалили маркизу за непорочность ее нрава и за тот урок, который она в такой изящной форме преподала королю французскому, сидевшая подле Фьямметты Эмилия по знаку королевы с непринужденным видом повела свой рассказ:

– Теперь я расскажу вам о том, как один почтенный мирянин поддел сребролюбивого монаха речью столь же забавною, сколь и похвальною.

Не так давно, милые девушки, в нашем городе жил-был некий минорит, гонитель нечестивых еретиков,[24 - ...минорит, гонитель нечестивых еретиков... – Вероятно, Боккаччо в данном случае имеет в виду монаха Мино да Сан Кирико, занимавшего должность инквизитора с 1332 по 1334 год, смещенного за корыстолюбие и всевозможные правонарушения.] и хоть и тщился он, как все они, сойти за святого и за неутомимого поборника веры христианской, однако столь же усердно пытал обладателей тугой кошны, как и тех, кто был нетверд в вере. Этот самый ревнитель благочестия напал на одного достойного человека, который, однако ж, мог похвалиться не столько смекалкой, сколько кошной, и вот он-то однажды, находясь в тесном кругу друзей, – не потому, чтобы он был богохульник, а, по всей вероятности, просто потому, что выпил лишнего и пребывал в веселом расположении духа, – сболтнул, что у него такое славное вино, какого и сам Христос не отказался бы испить. Как скоро о том донесли инквизитору, он, узнав, что мирянин – обладатель обширных владений и несметной казны, *cum gladiis et fustibus*[25 - С мечами и кольями (лат.)] и с великою поспешностью повел по его делу строжайший розыск в расчете не на

обращение грешника, а на то, что у него у самого прибудет флоринов, и так оно и вышло. Потянув мирянина к допросу, он спросил, правда ли то, что против него показывают. Добрый человек сказал, что правда, и поведал, как обстояло дело.

На это святейший инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста,[26 - ...инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста... - Комизм этого замечания построен на использовании прозвища одного из наиболее почитаемых отцов церкви для характеристики алчности монаха-инквизитора.] ему сказал: «Ты что же это, делаешь из Христа любителя выпить, охотника до тонких вин, как будто это Возлияни[27 - ...как будто это Возлияни... - Вероятнее всего, намек на какого-нибудь реального знаменитого бражника.] или же еще кто-либо из вашей пьяной компании гуляк и забулдыг? А теперь смиренником прикидываешься, делаешь вид, что ничего тут такого нет? Ошибаешься: коли мы решимся поступить с тобой, как ты того заслуживаешь, то отправим тебя на костер».

Такие и тому подобные речи инквизитор произносил с видом угрожающим, как если бы перед ним был сам Эпикур,[28 - Эпикур- древнегреческий философ IV века до н. э. В средневековой традиции Эпикур был символом неверия (атеизма). В этом смысле Эпикура упоминает в X песне «Ада» Данте.] отрицавший бессмертие души. В короткий срок он так его запугал, что бедняга, дабы умиловить инквизитора, поручил неким посредникам умастить его руки изрядным количеством мази святого Иоанна Златоуста,[29 - Под «мазью» подразумеваются флорентийские деньги с изображением Иоанна Златоуста.] каковая мазь хорошо помогает от заразной болезни, именуемой алчностью, коей страдают священнослужители, наипаче же - братья минориты, которым воспрещено прикасаться к деньгам. Сию мазь в качестве мази целебной, хотя Гален ни в одном из своих медицинских трудов ни словом о ней не обмолвился, он применил до того щедро, что огонь, коим ему грозили, был милостиво заменен знаком креста,[30 - То есть сожжение на костре было заменено покаянием. Приговоренный к покаянию должен был нашить на свою одежду матерчатый крест.] а дабы стяг тешил взоры, - как будто бедняга собирался идти в крестовый поход! - порешили нашить желтый крест на черное поле. Сверх того, инквизитор, получив денежки, оставил его на несколько дней при себе и наложил на него такого рода епитимью: каждый день выслушивать литургию в Санта Кроче,[31 - Санта Кроче - церковь во Флоренции. он волен был проводить, как ему заблагорассудится.] а в обеденный час являться к нему; остальное время все это он исполнял исправно, но вот однажды за обедней услышал он стих из Евангелия: «Получит во сто крат и наследует жизнь вечную».[32 - Цитата из Евангелия от Матфея, XIX, 29.] Запомнив стих этот в точности, он, как ему

было поведено, в обеденный час явился к инквизитору и застал его за трапезой. Инквизитор же осведомился, был ли он у обедни.

Вопрошаемый не замедлил ответить: «Был, ваше высокопреподобие».

Инквизитор же ему сказал: «Не слышал ли ты за обедней чего-нибудь такого, что зародило в тебе сомнения и о чем бы ты желал меня спросить?»

«По совести, ничего сомнительного я не слышал, – отвечал добрый человек, – напротив того: я твердо верю во все. Правда, я услышал нечто такое, что возбудило во мне и сейчас еще возбуждает безмерное сострадание к вам и ко всему иноческому чину, стоит мне помыслить о том бедственном положении, в каком все вы очутитесь на том свете».

Инквизитор его спросил:

«Какое же слово вызвало у тебя столь сильное к нам сострадание?»

Добрый человек же ему на это ответил:

«То было, ваше высокопреподобие, слово Евангелия, гласящее: «Получит во сто крат».

Инквизитор подтвердил: «В Евангелии сказано именно так, но почему же это тебя опечалило?»

«Сейчас я вам объясню, ваше высокопреподобие, – отвечал добрый человек. – С тех пор как я начал ходить сюда к обедне, я обратил внимание, что здесь принято выносить многочисленной голытьбе иногда один, а иногда и два здоровенных чана с бурдой, которую отнимают у вас и у всей остальной братии под тем предлогом, что это излишки. Так вот, ежели на том свете за каждый чан воздается вам во сто крат, то вы все утонете в этом море бурды».

Те, кто сидел за столом у инквизитора, не могли удержаться от смеха, инквизитор же, догадавшись, что стрела направлена против их бурдистого лицемерия, в крайнее пришел смятение, и если б не было ему стыдно за первое дело, которое он против этого человека возбудил, он начал бы второе – за

меткую остроту, которую тот уязвил и его, и всех прочих тунеядцев.

С досады он велел ему убираться вон.

Новелла седьмая

Остроумный рассказ Эмилии насмешил королеву и всех остальных; необычайная находчивость «крестоносца» вызвала всеобщее восхищение. Теперь настала очередь Филострато, и, когда все отсмеялись и успокоились, он начал свой рассказ так:

– Большая удача, достойные дамы, попасть в цель неподвижную, но если что-либо из ряду вон выходящее покажется внезапно и стрелок внезапно его поразит, то это уж можно почесть за чудо. Порочная и нечистая жизнь церковнослужителей, в коей часто находит себе почти полное отражение их душевная низость, сама напрашивается на пересуды, на нарекания и порицания. Конечно, хорошо поступил почтенный мирянин, что уличил инквизитора в притворной доброте, выказываемой монахами, которые жертвуют беднякам то, что следовало бы отдать свиньям, а то и вовсе выбросить, однако ж, по моему разумению, вящей похвалы заслуживает тот, кого мне привел на память только что выслушанный нами рассказ и о ком я и намереваюсь вам поведать: он поддел мессера Кане делла Скала,[33 - Речь идет о Кангранде делла Скала (1291–1329), властителе Вероны, снискавшем славу щедрого и великодушного государя. Кангранде оказывал покровительство самому Данте.] щедрого государя, за неожиданно и внезапно проявившуюся в нем скупость, предложив его вниманию изящную повесть, в коей он под другими именами вывел и его, и самого себя. Обращаюсь к своему рассказу.

Как о том по всему свету трубит наидобрейшая молва, мессер Кане делла Скала, коему судьба благоприятствовала почти всегда, был одним из самых выдающихся и щедрых правителей, каких только знала Италия со времен императора Фридриха Второго[34 - Фридрих II (1194–1250), король Сицилии. Был также прославлен за свою щедрость и покровительство поэтам.] и до наших дней. Замыслив устроить в Вероне пышное, роскошное празднество, на которое

собралось бы отовсюду множество народу, особливо – всякого рода затейников, он вдруг, по непонятной причине, передумал и, наградив тех, кто уже прибыл, отпустил их. Один лишь Бергамино,[35 - Как следует из дальнейшего, Бергамино был профессиональным сказителем. Во времена, к которым относится это повествование, действительно был некий сказитель, по имени Николо, прозванный Пергамино, автор «Dialogus creaturanum».] о находчивости и красноречии которого мог составить себе точное понятие только тот, кто сам его слышал, все-таки остался, хотя его и не наградили, ибо его не оставляла надежда, что все еще обернется к лучшему для него. Мессер же Кане вбил себе в голову, что лучше что-либо в печку выбросить, нежели подарить Бергамино, а потому и к себе его не призывал, и ничего ему передать не наказывал. Так прошло несколько дней, и наконец Бергамино, убедившись в том, что звать его не собираются, что его ремесло здесь не потребуется, а равно и в том, как дорого ему обходится свой собственный постой, постой своих слуг и прокорм коней, закручинился, и все же он почел неудобным уехать и порешил ждать. Чтобы не ударить в грязь лицом на празднике, он захватил с собой три отличных, дорогих наряда, которые получил в подарок от других синьоров, но так как хозяин гостиницы требовал платы, то сначала он отдал ему один наряд, потом, задержавшись еще на некоторое время, – второй и, наконец, пожелав удостовериться, насколько ему хватит третьего, – а тогда, мол, и восвояси, – принялся проедать третий.

И вот однажды, когда он проедал уже третий наряд, с унылым видом предстал он в обеденное время перед мессером Кане. Увидев его, мессер Кане не столько для того, чтобы посмеяться какой-нибудь его шутке, сколько для того, чтобы поглумиться над ним самим, обратился к нему с вопросом: «Что с тобой, Бергамино? Что это ты так приуныл? Расскажи-ка нам что-нибудь».

И тут Бергамино, не долго думая, однако же сделав вид, что это плод его долгих раздумий, для поправки дел своих повел такую речь: «Государь мой! Вам, уж верно, известно, что Примассо был великим грамматиком,[36 - В первой половине XIII века большой известностью пользовался Примас Кельнский. Его перу принадлежат многочисленные «песни голиардов» и несколько небольших поэм на латинском языке.] а также изрядным и преискусным стихотворцем, каковые его заслуги снискали ему такой почет и уважение, что даже до тех, кто в глаза его никогда не видал, доходила о нем молва и слава, и все знали, кто таков Примассо. Случилось, однако ж, так, что в Париже он сильно нуждался, – а нуждался он почти всегда, оттого что достоинства его не высоко ценились людьми состоятельными, – и тут до него дошли толки о том, что, за исключением папы, никто из князей церкви божией не получает столько доходов, как аббат из

Клюни.[37 - Упоминания о знаменитом бенедиктинском аббатстве Клюни (Франция), равно как и великолепии его настоятелей, часто встречаются в литературе позднего средневековья.] И еще ему рассказывали чудеса про то, что у аббата открытый дом и что всякий волен сесть с ним за стол – ешь, пей сколько влезет. Послушав такие речи, Примассо, любивший водить компанию с людьми вельможными и сановными, положил самолично удостовериться в щедрости помянутого аббата, и осведомился, далёко ли он живет. Ему ответили, что его монастырь милях в шести от Парижа. Примассо рассчитал, что если выйти спозаранку, то попадешь как раз к обеду. Он стал просить показать ему туда дорогу, однако ж попутчика ему не нашлось, и, боясь, как бы, не дай бог, не заблудиться и не забрести туда, где, пожалуй, голодом насидишься, он на всякий случай, чтобы не голодать, взял с собой в дорогу три куска хлеба, питья же не взял в расчете на то, что хотя он и небольшой любитель воды, но в случае надобности чего-чего, а уж воды-то где угодно достанет. И вот, сунув хлеб за пазуху, двинулся он в путь-дорогу, и надобно же быть такой удаче, что он попал к аббату как раз в предобеденное время. Войдя, он огляделся по сторонам и, увидев великое множество накрытых столов, заметив, что на кухне идут спешные приготовления и прочее тому подобное, подумал: «А ведь он и правда человек гостеприимный». И так он оглядывался вплоть до той самой минуты, когда пришло время обедать и эконоом велел принести воды для омовения рук. Как же скоро принесли воды, эконоом всех рассадил. Нужно же было случиться так, чтобы Примассо указали место как раз напротив двери, откуда должен был выйти аббат. Здесь существовал такой обычай: пока аббат не сядет за стол, ни хлеба, ни вина, ниже других каких-либо яств и питий не подавать. Как скоро эконоом всех усадил, то послал сказать аббату, что обед готов и что он ждет дальнейших его распоряжений. Аббат велел отворить дверь в трапезную, вошел, глядя прямо перед собой, и первый, кто попался ему на глаза, был незнакомый ему и облаченный в ветхие одежды Примассо. И как скоро увидел его аббат, у него тотчас шевельнулась недобрая мысль, дотоле не приходившая ему в голову: «И кто только не кормится от моих щедрот!» Уйдя к себе, он велел запереть дверь и спросил своих приближенных, не знает ли кто-нибудь из них того проходимца, что сидит напротив двери в его покой. Все отвечали, что не знают. Между тем Примассо, проголодавшись с дороги и с непривычки к посту, подождал-подождал, а потом видит, что аббат все не выходит, достал из-за пазухи кусок хлеба – и давай уписывать. Аббат, выждав, послал одного из приближенных поглядеть, не ушел ли Примассо. Тот поглядел и сказал: «Нет, ваше высокопреподобие, какое там ушел, он ест хлеб, – это значит, что он принес его с собой». Аббат же ему на это: «Пусть ест свое, коли взял с собой, а нашего нынче он не отведаст». Выпроваживать Примассо аббат почитал неудобным – ему хотелось, чтобы тот сам ушел. Примассо съел кусок хлеба,

аббат же все не выходил к столу, – тогда Примассо принялся за второй кусок, о чем было немедленно доложено аббату, вторично пославшему поглядеть, не ушел ли гость. Примассо съел и второй кусок, аббата все нет как нет, – в конце концов он принялся за третий. Когда же о том доложили аббату, он подумал и сказал себе: «Что за чушь лезет мне нынче в голову? Чего я жадничаю? Чего я гнушаюсь? И кем? Сколько лет кормил всех подряд, не разбирая, благородный то человек или же худородный, бедняк или же богач, купец или же мошенник, на моих глазах тучи проходимцев меня обжирали, и ни к кому я не испытывал таких чувств, какие вызвал во мне этот человек. Верно, не простого человека я пожелал накормить: уж если душа моя сопротивлялась тому, чтобы я его почтил, стало быть, тот, кого я признал за проходимца, есть на самом деле человек необыкновенный». Подумав так, аббат изъявил желание узнать, кто он таков. Когда же ему сказали, что это Примассо, который явился самолично удостовериться в его гостеприимстве, о коем он был так много наслышан, и которого аббат с давних пор знал за человека достойного, он устыдился и, желая загладить вину, принялся всячески его задабривать. После обеда аббат приказал нарядить Примассо прилично его званию и, дав ему денег и коня в придачу, предоставил на выбор: уехать или же остаться. Примассо был так доволен, что не знал, как и благодарить аббата; пришел он из Парижа пешком, а в Париж верхом на коне уехал».

Такому догадливому человеку, как мессер Кане, не надо было разъяснять, что хотел этим сказать Бергамино, – он и так все прекрасно понял и, усмехнувшись, сказал: «Ты, Бергамино, весьма искусно поведал мне свою обиду, показал, сколь ты добродетелен и до чего я скуп, и намекнул, чего ты от меня хочешь. То правда: я впервые выказал скупость нынче, по отношению к тебе, но я прогоню ее отсюда той самой палкой, которую вложил мне в руку ты». И тут он велел расплатиться с хозяином Бергамино, выкупить все три его наряда, одеть его в одно из самых богатых своих платьев, дал ему денег, коня в придачу и всецело предоставил на его благоусмотрение: отправиться в путь или побыть у него.

Новелла восьмая

Рядом с Филострато сидела Лауретта; она знала, что ей тоже придется что-нибудь рассказать, а потому, выслушав похвалы хитроумию Бергамино, она, не

дожидаясь повеления, с очаровательной приятностью повела свой рассказ:

– Предыдущее повествование, милые подруги, побуждает меня рассказать, как один почтенный человек таким же точно образом и небезуспешно ополчился на скаредность купца-богача. Хотя мой рассказ по содержанию напоминает предшествующий, удовольствие он вам должен доставить не меньшее, если только вы примете в соображение счастливую его развязку.

Итак, давным-давно жил-был в Генуе знатный человек, мессер Эрмино де Гримальди,[38 - Гримальди – одно из известнейших патрицианских семейств Генуи.] у которого, как о том все в один голос говорили, были самые обширные во всей Италии владения и самая тугая кошница. Но, будучи самым богатым человеком в Италии, он к тому же еще был намного скареднее и сквалыжнее всех скаредов и сквалыг, какие только есть на свете, ибо мало того, что он никому не помогал, но и себе, в отличие от прочих генуэзцев, любящих пофрантить, отказывал во всем, лишь бы не тратить денег, и даже ограничивал себя в еде и питье. Вот почему фамилия его – де Гримальди – была заслуженно забыта и все звали его мессер Эрмино Скопидомо.

И вот, меж тем как он, не расходуясь, приумножал достояние свое, в Генуе появился искусный затейник, учтивый и речистый, по имени Гвильельмо Борсьере,[39 - Гвильельмо Борсьере – реальное лицо, упоминаемое Данте («Ад», песнь XIV, 70–72).] нимало не похожий на нынешних, которые, к стыду мерзких распутников, из кожи вон лезущих, чтобы считаться и именоваться людьми достойными и благородными, скорее заслуживают прозвище ослов, возвращенных не при дворе, а среди наигнуснейшего и презренного сброда. В былые времена прямым делом и обязанностью таких людей было улаживать миром распри и размолвки, возникавшие между господами, заключать брачные, родственные и дружеские союзы, красивыми и приятными для слуха речами приободрять уставших, потешать дворы, отечески строгими внушениями исправлять пороки, и все это за небольшое вознаграждение. А теперь они только тем и занимаются, что переносят из дома в дом, сеют плевелы, распространяют всякие мерзости и гадости и, что самое скверное, говорят их при ком угодно, обвиняют друг дружку во всяких злых, непотребных и гнусных делах, не считаясь с тем, напраслина это или же не напраслина, и, подольщаясь к чистым душам, болтают про них всякие низости и пакости, – вот так они и убивают время. И кто всех подлее и на словах и на деле, тот в наибольшей чести у распущенных и порочных вельмож, того они превеликими наградами осыпают. Этот возмутительный позор нашего времени служит наглядным доказательством, что

добродетели от нас удалились и предоставили несчастному человечеству погрязать в пороках.

Возвращаясь, однако ж, к тому, с чего я начала и от чего против воли моей меня отвлек правый гнев, почитаю не излишним заметить, что вся знать генуэзская помянутого Гвильельмо встретила с честью и принимала радушно. Гвильельмо же, пробыв несколько дней в Генуе и наслышавшись про скупость и скряжничество мессера Эрмино, вознамерился с ним повидаться. Мессер Эрмино прознал, что Гвильельмо Борсьере – человек достойный, а так как, несмотря на его скупость, в нем все же тлела искорка душевного благородства, то он встретил его радостными восклицаниями и с приветливым видом, долго и о многом беседовал с ним и, продолжая беседу, повел его, а равно и при сем присутствовавших генуэзцев, в новый красивый дом, который он себе выстроил.

Проведя же его по всем комнатам, он обратился к нему с вопросом: «Послушайте, мессер Гвильельмо: вы много видели на своем веку, о многом слышали, – не подскажете ли вы мне какую-нибудь невидаль, чтобы я мог ею расписать стену моего дома?»

Услышав такие несообразные речи, Гвильельмо молвил: «Вряд ли, мессеру я мог бы вам посоветовать изобразить какую-либо невидаль, разве чиханье или же что-нибудь в этом роде. Впрочем, если хотите, я подскажу вам нечто, по всей вероятности, совершенно вам неизвестное».

Мессер Эрмино, не ожидая услышать в ответ то, что он от него услышал, воскликнул: «Ах, скажите на милость, что же это такое?»

Гвильельмо не замедлил ему ответить: «Прикажете написать аллегорию Гостеприимства».

Как скоро мессер Эрмино услышал это слово, ему стало так стыдно, что в ту же минуту почти совершенно переменялся и сказал: «Мессер Гвильельмо! Я велю написать эту аллегорию таким образом, что теперь уже ни у вас, ни у кого-либо другого не найдется повода сказать, что мне оно неведомо и незнакомо».

Речь Гвильельмо оказала на мессера Эрмино столь сильное действие, что с той поры и до конца своих дней он из всех дворян генуэзских был самым щедрым и самым любезным как с земляками, так равно и с приезжими.

Новелла девятая

Последнее приказание королевы должна была получить Элисса, и, не дожидаясь его, она бойко начала рассказывать:

– Часто бывает так, юные жены, что чего не могут поделаться с человеком всечасные упреки и всевозможные наказания, то способны осуществить одно слово, притом чаще всего случайное, а не преднамеренное. Это явствует из рассказа Лауретты, я же коротким своим повествованием лишней раз хочу вам это доказать. Хорошие рассказы всегда идут на пользу, так что, кто бы ни был повествователь, их должно слушать с великим вниманием.

Итак, надобно вам знать, что во времена первого кипрского короля,[40 - Первым королем Кипра был Ги де Лузиньян (1192–1194), прославившийся безволием и полнейшей неспособностью к правлению.] после завоевания Святой земли Готфридом Бульонским,[41 - Готфрид Бульонский возглавлял первый крестовый поход (1099), завершившийся завоеванием Иерусалима.] случилось некоей знатной гасконской даме отправиться на поклонение Гробу Господню, а на возвратном пути пристать к Кипру, и здесь какие-то негодяи гнусное нанесли ей оскорбление. Не имея возможности получить удовлетворение и крушась по сему поводу, она решилась пожаловаться королю, но кто-то сказал ей, что это напрасный труд, ибо король до того малодушен и труслив, что не только не наказывает по всей строгости закона за оскорбления, кому-либо другому нанесенные, но, будучи презренным трусом, покорно сносит бесчисленные оскорбления, наносимые ему самому, и оттого всякий на нем срывает зло и на нем вымещает свой стыд и позор.

Услышав это и утратив надежду на отмщение, дама надумала, чтобы отвести душу, упрекнуть короля в том, что он – ничтожество, и, явившись к нему, со слезами заговорила: «Государь! Я предстала пред твои очи, не ожидая получить удовлетворения за обиду, мне причиненную, – я намерена обратиться к тебе с просьбой: вместо этого научи меня терпеть оскорбления, как, если верить слухам, терпишь ты сам, дабы я, наставленная тобою, с кротостью претерпела то, которое нанесли мне, – истинный господь, я с удовольствием уступила бы его

тебе: ведь ты же на диво вынослив!»

Король, обыкновенно мешкотный и вялый, тут словно воспрянул от сна и, начав с учиненной той женщине обиды, за которую он строго взыскал, в дальнейшем стал жестоко преследовать всех, кто посягал на честь его короны.

Новелла десятая

Элисса умолкла, а так как в последнюю очередь надлежало рассказывать королеве, то она и повела свой рассказ с чисто женским изяществом:

– Достоянные дамы! Подобно как в ясные ночи украшением небесного свода служат звезды, а весною цветы красят зелень лугов, так же точно добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. В силу своей краткости они в гораздо большей степени приличествуют женщинам, нежели мужчинам, ибо говорить без надобности много и долго еще менее пристало женщинам, нежели мужчинам, хотя, к стыду нашему и к стыду всех на свете живущих, теперь уже мало, – а может статься, и вовсе не осталось, – женщин, способных понять остроту или, поняв, на нее ответить. Дело состоит в том, что способность, коей женский ум отличался прежде, нынешние женщины употребляют на украшение своего тела, и та франтиха и щеголиха, у которой платье пестрее, чем у других, воображает, что она заслуживает особого почета и уважения, и притом им и в голову не приходит, что если бы все их финтифлюшки и побрякушки навьючить на осла, то осел выдержал бы и неизмеримо более тяжелую ношу, чем любая из них, и все-таки его почитали бы всего-навсего за осла и ни за что более. Мне стыдно об этом говорить, потому что все это ведь и ко мне относится. Разряженные, подмалеванные, расфуфыренные, обычно они бесчувственны и немы, точно мраморные статуи, а когда к ним обратятся с вопросом, то уж так ответят, что, право, лучше было бы им промолчать. Между тем они себя убеждают, что их неуменье поддерживать разговор с дамами и благородными мужчинами проистекает из чистоты душевной, свою глупость они выдают за скромность, как будто скромность женщины состоит в том, чтобы вести беседы только со служанкой, да с прачкой, да с булочницей. Ведь если бы того требовала природа, в чем они сами себя пытаются уверить, то она каким-нибудь

другим способом умерила бы их болтливость. Разумеется, и здесь, как и во всех случаях жизни, необходимо принимать в соображение время, место, а равно и то, с кем ты говоришь, ибо иной раз случается, что женщина или мужчина острым словом хотят вогнать кого-либо в краску, но не рассчитают сил и вместо того, чтобы заставить покраснеть других, краснеют сами. Так вот, чтобы вы были осторожнее и чтобы на вас не оправдалась известная пословица: женщина всегда останется с носом, я намерена последней повестью сегодняшнего дня, которую надлежит рассказать мне, наставить вас, дабы подобно как вы отличаетесь душевным благородством, так же точно выделялись бы вы и приятностью светского обхождения.

Не так давно жил-был в Болонье, – а может статься, он и сейчас еще жив, – знаменитый лекарь, известный едва ли не всему миру, некто магистр Альберто.[42 - Вполне вероятно, что в данном случае имеется в виду Альберто дей Дзанкари, известный медик, преподававший в Болонском университете в первой половине XIV века. У него действительно была жена по имени Маргерита (тогдашняя распространенная в Болонье форма этого имени – Мальгериди).] Этот невступно семидесятилетний старец был, однако ж, до того молод душой, что, хотя по его жилам естественный огонь почти уже не пробегал, со всем тем он от любовного пламени не уклонялся. Как-то раз на празднике он повстречал прелестную вдовушку, кажется – Мальгериду де Гизольери,[43 - Гизольери – известная по хроникам болонская семья.] она очень ему приглянулась, он с юношескою живостью влил сей пламень в старческую грудь свою и с той поры не мог спать спокойно, если днем не видел нежного и пригожего личика красоти. Того ради он каждодневно, то пешком, то верхом, как придется, показывался под ее окнами. В конце концов и она сама, и другие дамы догадались, что тому причиной, и начали между собой пошучивать, что вот, мол, человек в таких зрелых летах и такой зрелый ум – и вдруг влюбился! Как будто упоительная страсть любовная обитает и гнездится лишь в душе у безрассудных юнцов! Между тем магистр Альберто продолжал показываться перед домом своей возлюбленной, и вот однажды, в праздничный день, она и другие дамы сидели возле ее дома, и как скоро они магистра Альберто завидели, то порешили зазвать его, принять с честью, а затем посмеяться над его любовью. Как сказано, так и сделано: они встали, пригласили его, провели в прохладный двор, велели принести тонких вин и сластей и наконец в изящных и изысканных выражениях задали ему вопрос: как мог он влюбиться в эту красавицу, зная, что у нее такое множество красивых, обворожительных и стройных юных поклонников?

Уловив тонкий намек, магистр с улыбкой ответил:

«Сударыня! Человека рассудительного не должно удивлять то обстоятельство, что я влюблен, да еще в вас, ибо вы вполне того заслуживаете. Правда, у людей преклонного возраста, естественно, не хватает сил для любовных упражнений, зато они не лишены ни потребности любить, ни понимания того, что значит быть любимым, и это они, естественно, еще лучше разумеют, нежели юноши, оттого что разумения у них больше. И хотя я и стар, а у вас столько юных воздыхателей, однако надежды на взаимность я не теряю, основана же она вот на чем: мне не раз приходилось видеть, как женщины, полдничая, ели люпин и порей. Порей весь не вкусен, и все-таки головка у него съедобнее, аппетитнее, но у вас, женщин, до того испорчен вкус, что вы имеете обыкновение держать порей за головку, и есть ни на что решительно не годные, прескверные его листья. Как знать, сударыня? Может статься, вы и возлюбленных себе выбираете таким же точно образом? А когда так, то меня вы изберете, а других отвергнете».

Слова магистра Альберто слегка смутили знатную даму, равно как и ее приятельниц, и ответила она ему так: «Вы, магистр, очень мило и деликатно проучили нас за нашу дерзостную затею. Во всяком случае, ваше чувство дорого мне, как должно быть дорого чувство человека благоразумного и почтенного. Располагайте мною, как вам только заблагорассудится, не в ущерб, однако ж, для моей чести».

Тут магистр встал, – а за ним и его спутники, – поблагодарил даму, распрощался с нею и, весело смеясь, удалился. Так эта дама, не отдав себе отчета, над чем, собственно, она смеется, оказалась побежденной, хотя и рассчитывала на победу. Вы же вполне можете этого избежать, если только будете осмотрительны.

Девушки и трое молодых людей кончили рассказывать, когда солнце уже склонялось к закату и жар свалил.

Того ради королева с очаровательною приятностью молвила:

– Милые подруги! В этот день моего царствования мне уже ничего иного не остается, как только дать вам новую королеву, и пусть она завтра по своему усмотрению распорядится собою и нами таким образом, чтобы мы могли благопристойному предаться развлечению. Ночь, правда, еще не скоро, но ведь если заблаговременно не распорядиться, то уж в будущем порядка не жди, и

вот, дабы люди успели приготовить все, что новая королева соизволит заказать на завтрашнее утро, я повелеваю считать грядущий день уже наступившим. Итак, во славу Жизнедавца, а всем нам на утешение, пусть на следующий день королевством нашим правит юная и благоразумная Филомена.

С этими словами королева встала, сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая поклонилась ей как королеве, а ее примеру, добровольно признав над собою власть Филомены, последовали девушки и юноши.

Филомена зарделась, когда ее венчали на царство, однако ж, вспомнив давешние слова Пампинеи, взяла себя в руки и, дабы не ударить лицом в грязь, прежде всего утвердила в должностях всех, кого назначила Пампинея, отдала распоряжения, что приготовить на этом самом месте к завтрашним трапезам, а затем повела такую речь:

– Милейшие подруги! Хотя Пампинея и назначила меня вашею королевою, – впрочем, не столько за мои достоинства, сколько из вежливости, – однако ж в предначертании распорядка нашей жизни я намерена руководствоваться не только моим, а и нашим общим разумением. И вот, дабы довести до вашего сведения, что мне представляется необходимым претворить в жизнь, и дабы вы имели возможность по своему благоусмотрению что-то добавить или же, напротив того, отбавить, я хочу в двух словах изложить вам свой замысел. Если я не ошибаюсь, все, что Пампинею удалось сегодня осуществить, было и занятно и приятно, – вот почему до тех пор, пока ее приказания, от частого ли повторения или же по какой-либо иной причине, нам не наскучат, я не намерена их отменять. Итак, во исполнение ранее нами замысленного, давайте встанем, немного порезвимся, а когда солнце зайдет, поужинаем в холодочке, после ужина попоем, повеселимся – и на покой! Завтра встанем, пока еще прохладно, пойдем опять позабавимся, кто чем желает, и, по примеру нынешнего дня, к обеду вернемся, затем потанцуем, потом отдохнем. Восстав же от сна, мы, как это имело место сегодня, опять соберемся здесь и начнем рассказывать, а ведь, по моему крайнему разумению, ничто не может доставить столько удовольствия и одновременно принести столько пользы, как именно рассказы. Я лишь собираюсь предложить некое новшество, на которое Пампинея не могла пойти, так как была слишком поздно возведена на престол: я хочу ограничить рассказчиков одним предметом и объявить вам его заранее, чтобы у каждого было время придумать на заданную тему забавный рассказ. Словом, если вы со мной согласитесь, то тема у нас будет такова: от начала мира люди подвержены

превратностям судьбы и будут им подвержены до конца света, а когда так, то пусть каждый что-нибудь расскажет на тему О том, как для людей, подвергавшихся многообразным испытаниям, в конце концов, сверх всякого ожидания, все хорошо кончалось.

И мужчины и дамы единодушно одобрили это установление и обещали его придерживаться. Но когда все уже умолкли, неожиданно заговорил Дионео:

– Ваше величество! Я присоединяюсь к общему мнению: новшество ваше похвально и остроумно. Однако ж в виде особой милости я прошу у вас некоей льготы, каковую да будет мне разрешено пользоваться до тех пор, пока общество наше не распадется, а именно – на меня заведенный вами порядок не распространяется: если мне не захочется рассказывать на заданную тему, то приневоливать меня не след; что захочу, то и расскажу. А чтобы никто не подумал, будто я испрашиваю Этой милости, оттого что у меня нет в запасе рассказов, я согласен всегда рассказывать после всех.

Королева, зная Дионео за человека занятого и веселого, сейчас догадалась, что он обратился с этой просьбой единственно для того, чтобы позабавить общество каким-нибудь смешным рассказом в том случае, если оно устанет от умствований, и с видимым удовольствием и при всеобщем одобрении просимую льготу ему предоставила. Тут все встали и неспешным шагом направились к прозрачному потоку, низвергавшемуся с горки в тенистую долину и протекавшему меж частых деревьев, обломков скал и зеленых лугов. Дамы разулись, засучили рукава и, войдя в воду, принялись резвиться. Когда же пришла пора ужинать, все возвратились во дворец и с удовольствием отужинали. После ужина принесли музыкальные инструменты, и королева велела начать танец, причем вести за собою танцоров было поручено Лауретте, а Эмилии – спеть песню под звуки лютни, на которой должен был играть Дионео. Лауретта, поспешив исполнить приказ королевы, тотчас открыла танец и повела за собой остальных, Эмилия же голосом, исполненным страстной неги, спела песню:

Моя краса дарит мне столько счастья,

Что ни к кому вовек

Уже не в силах воспылать я страстью.

Увидев в зеркале свои черты,

Я прихожу в такое восхищенье,
Что ни воспоминанья, ни мечты
Острее дать не могут наслажденья.
Я не ищу другого увлеченья:
Ничто меня вовек
Не преисполнит столь безмерной страстью.
Меня мое блаженство не бежит.
Когда хочу утешиться им снова,
Оно само навстречу мне спешит,
Суля минуту торжества такого,
Что выразить его не властно слово
И что его вовек
Тот не поймет, кто не сгорает страстью.
Чем пристальней в себя вперяю взгляд
Тем для меня дороже и милее
Ниспосланный мне от рожденья клад,
Тем пламенней надежду я лелею,
Что взыскана судьбою всех щедрее,
Что никому вовек
Не довелось такой упиться страстью.

Этой песне все весело подпевали, хотя кое-кого она и заставила призадуматься над ее словами, а затем, когда пение кончилось, было исполнено еще несколько быстрых танцев, и так незаметно пролетела часть и без того короткой ночи, что заставило королеву положить конец первому дню. Распорядившись зажечь факелы, она велела мужчинам и дамам пойти отдохнуть до утра, и все разошлись по своим покоям.

Кончился первый день ДЕКАМЕРОНА, начинается второй

Уже солнце все залило светом нового дня, и птицы, распевая на зеленых ветках радостные песни, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое молодых людей встали, пошли в сад и там долго гуляли по росистой траве, развлекаясь плетением красивых венков. А затем все пошло по заведенному вчера обычаю: пока еще было прохладно, закусили, потанцевали, отдохнули, около трех часов встали, отправились по указанию королевы на зеленый лужок и расселись вокруг нее. Прелестная, исполненная очарования, с лавровым венком на голове, королева постояла в раздумье, а затем, окинув взглядом собравшихся, велела начать Нейфиле, и та, не заставив себя упрашивать, с веселым видом повела рассказ.

Новелла первая

– Милейшие дамы! Нередко тот, кто пытается насмеяться над другими, особенно над предметами священными, смеется себе же во вред и сам же бывает осмеян. В сих мыслях, исполняя повеление королевы – рассказать что-либо на заданную ею тему, я хочу сообщить вам, какая беда стряслась с одним нашим земляком и как потом, сверх всякого его ожидания, все обернулось довольно счастливо для него.

Не так давно жил-был в Тревизо немец по имени Арриго,[44 - Святой Арриго (Блаженный) из Тревизо, уроженец Больцано. В день его смерти (11 июня 1315 г.) и произошли, согласно хроникам, все те чудеса, о которых рассказывается в новелле.] бедняк, по роду своих занятий – носильщик; при всем при том все знали его за честнейшего, святой жизни человека. Правда ль, нет ли, а только тревизцы уверяли, будто ради его праведности, когда он преставился, в час его кончины все колокола тревизского собора сами собой

зазвонили. Сочтя это чудом, все признали его за святого. Когда же народ со всех концов города притек к дому, где лежало его тело, то оно с почестями, приличествующими мощам святого, было перенесено в собор, и туда начали приводить калек, хромцов, слепцов, всех болящих и порченных, как будто одно прикосновение к его телу должно было исцелить их.

Случилось, однако ж, так, что во время всей этой сутолоки и столпотворения в Тревизо прибыли трое наших земляков, из коих одного звали Стекки, другого – Мартеллино, а третьего – Маркезе; все трое занимались тем, что ходили к знатым господам и необычайным своим искусством кого угодно передразнивать забавляли зрителей. Здесь они никогда прежде не были, подивились всей этой кутерьме и, узнав, что тому причиной, решили, что им самим надобно туда пойти и посмотреть.

Остановились они в гостинице, и Маркезе сказал:

«Пойдем посмотрим на этого святого. Не знаю только, как мы туда проберемся, – сказывали, что всю площадь заполонили немцы и воины, воинов же градоправитель туда послал во избежание беспорядков, да и церковь, слышать, битком набита, так что не протолкаешься».

Мартеллино страх как хотелось на все это поглядеть, и он сказал: «Подумаешь, какое дело! Чтобы я да не пробился к мощам? Быть того не может».

«Каким образом?» – осведомился Маркезе. Мартеллино же ему ответил: «Сейчас скажу. Я притворюсь убогим, а ты и Стекки поддерживайте меня с двух сторон, как будто я сам ходить не могу, и делайте вид, что ведете меня к тем мощам за исцелением, и тогда всякий, увидев нас, пропустят и даст дорогу». Маркезе и Стекки одобрили эту затею. Недолго думая, все трое вышли из гостиницы, и в укромном месте Мартеллино ухитрился так вывернуть себе кисти рук, ладони, пальцы, ноги, скосить глаза, искривить рот и все лицо, что на него страшно было смотреть. Никто бы при взгляде на него не усомнился, что это убогий калека. Маркезе и Стекки, подхватив его в таком виде под руки и напустив на себя крайнее благочестие, повели в собор, кротко, Христовым именем прося расступиться, и все охотно уступали им дорогу. Не в долгом времени, во всех возбуждая участие и под дружные крики: «Посторонитесь! Посторонитесь!» – добрались они до собора, где покоились останки святого Арриго. Дворяне, теснившиеся вокруг раки, подняли Мартеллино и положили на мощи, дабы на него излилась благодать исцеления. Все на него воззрились, а он немного

погода начал со свойственным ему искусством делать вид, будто разжимает скрюченный палец, потом распрямляет ладонь, потом всю кисть и, наконец, весь выпрямился. При виде этого народ так восславил святого Арриго, что и удар грома не был бы слышен.

Случайно здесь оказался некий флорентиец, отлично знавший Мартеллино, но не узнавший его сразу, когда тот предстал перед ним этаким страшилищем. Как же скоро Мартеллино распрямился, флорентиец сейчас узнал его и со смехом вскричал: «Ах, чтоб ему пусто было! Ну кто бы, глядя на него, не поверил, что он и впрямь калека!»

Услышав такие речи, иные из толпы спросили: «Как! Разве он не калека?» Флорентиец же им на это ответил: «Да нет же, черт побери! всю жизнь он был так же прям, как мы с вами, – он только, в чем вы сами сейчас могли удостовериться, владеет несравненным искусством изображать из себя кого угодно».

Услышав это, народ без дальних разговоров ринулся напролом с криком: «Держите этого злодея! Он глумится над богом и святыми! Никакой он не калека – он только прикинулся калекой, чтобы насмеяться и над нашим святым, и над нами!» Тут они схватили его, столкнули с гробницы, сорвали те одежды, что на нем были, схватили за волосы – и давай угощать его пинками да тумаками. Кто не принял бы в этом деле участия, тот перестал бы почитать себя за мужчину, Мартеллино вопил: «Смилуйтесь, Христа ради!» – сколько мог, отбивался, но безуспешно: толпа вокруг него все росла. При виде всего этого Стекки и Маркезе шепнули друг другу, что, мол, дело плохо, но, боясь за себя, не отважились вступить за товарища, напротив того: вместе со всеми орали, что его надо убить, однако же втайне шевелили мозгами, как бы это вырвать его из рук толпы, а толпа наверняка доконала бы его, когда бы Маркезе внезапно не осенило. Бросившись, не помня себя, к страже, оцепившей собор, и обратясь к тому, кто замещал градоправителя, Маркезе крикнул: «Караул! Какой-то мошенник срезал у меня кошелек с доброй сотней золотых флоринов[45 - Флорин – монета, выбитая впервые в 1252 году, стоимостью в двадцать золотых сольдо.] – велите задержать его и вернуть мне мои деньги».

При этих словах двенадцать стражников нимало не медля устремились туда, где злосчастного Мартеллино чесали без помощи гребня, и ценою нечеловеческих усилий, протиснувшись, вырвали его, избитого и измолоченного, из рук мучителей и отвели во дворец градоправителя. Сюда же проследовали многие

из тех, которые считали, что он их одурачил, и, услышав, что его схватили, как воришку, за неимением более подходящего предлога насолить ему, также начали показывать, что он и у них срезал кошельки. Выслушав показания, жестокосердный судья отвел Мартеллино в сторону и тут же учинил ему допрос. Мартеллино, однако, отшучивался, как будто бы с ним в игрушки играли. Судья рассвирепел и велел поднять его на дыбу, отсчитать столько-то лихих ударов, с тем чтобы вынудить у него признание, а засим вздернуть на виселицу.

Как же скоро Мартеллино спустили с дыбы наземь, судья вновь обратился к нему с вопросом, правду ли показывают против него потерпевшие, и тогда Мартеллино, видя, что запирательство ни к чему не ведет, ответил так: «Государь мой! Я готов повиниться, однако ж прежде пусть каждый укажет, когда и где я срезал у него кошелек, а я вам тогда скажу, что правда, а что неправда».

«Быть почему», – объявил судья и велел вызвать нескольких истцов, и тут один из них показал, что Мартеллино срезал у него кошелек неделю тому назад, другой – что шесть дней, третий – что четыре дня, а иные – что не далее как сегодня.

Послушав такие речи, Мартеллино сказал: «Государь мой! Все они нагло врут, а вот что я говорю правду, тому у меня есть доказательство: не бывать мне больше в этом городе, если я до нынешнего дня когда-нибудь здесь был. Как же скоро я сюда прибыл, я, себе на горе, тот же час пошел в собор поглядеть на мощи, и там меня, как видите, и отходили. А что я не лгу, это могут засвидетельствовать состоящее при градоправителе должностное лицо, к коему обязаны являться все вновь прибывшие, его книга и, наконец, хозяин той гостиницы, где я остановился. Так вот, если все эти подтвердится, то уж, будьте настолько добры, не истязайте меня и не лишайте жизни по настоянию этих мерзавцев».

Между тем Маркезе и Стекки, прослышав, что судья допрашивает Мартеллино с пристрастием, не на шутку испугались и сказали: «Дали мы маху: сняли его со сковороды, а кинули в огонь». В сих мыслях они пустились на розыски хозяина гостиницы и, сыскав его, все ему обсказали. Тот посмеялся и повел их к некоему Сандро Аголанти,[46 - Аголанти – флорентийская знатная семья, изгнанная из Флоренции во второй половине XIII века. Документы, относящиеся к началу XIV века, сообщают об Аголанти, проживавших в Тревизо и Венеции.] проживавшему в Тревизо и находившемуся в большой чести у градоправителя. Рассказав ему

все по порядку, он и его спутники обратились к нему с просьбой заступиться за Мартеллино. Сандро, вволю нахохотавшись, отправился к градоправителю и попросил послать за Мартеллино, что и было исполнено. Посланцы увидели, что Мартеллино стоит перед судьей в одной сорочке, потерянный и уstraшенный, ибо судья и слышать не хотел его оправданий; напротив того: питая, как на грех, некоторую неприязнь к флорентийцам, он вознамерился во что бы то ни стало вздернуть Мартеллино на виселицу, а чтобы отослать его к градоправителю – этого он и в мыслях не держал, отослал же он его в конце концов не по доброй воле, а по принуждению. Явившись к градоправителю, Мартеллино все рассказал ему по порядку, а затем попросил в виде особой милости позволить ему отсюда отбыть, ибо, – пояснил он, – пока он не попадет в родную Флоренцию, ему все будет мерещиться петля на шее. От души посмеявшись над этим приключением, градоправитель всем троим подарил по платью, и флорентийцы, сверх всякого ожидания[47 - Это замечание возвращает читателя к теме новелл второго дня, которую задала в самом начале Нейфила.] избежав величайшей опасности, целы и невредимы вернулись домой.

Новелла вторая

Дамы до упаду хохотали над приключением Мартеллино, о коем рассказала Нейфила; что же до юношей, то всех более рассказ ее насмешил Филострато, и как раз ему-то, сидевшему подле Нейфилы, королева и велела рассказывать. Он же, даром времени не теряя, начал так:

– Приятные дамы! У меня вертится на языке повесть о предметах священных, отчасти сопряженных со злоключениями и с делами сердечными, и, может статься, выслушать ее небесполезно, особливо тем, кто плавает по бурным морям любви, а кто по ним плавает, молитвы же святому Юлиану[48 - В средние века молитва, возносимая святому Юлиану, защитнику от всех невзгод в пути; была популярнейшей.] не прочел, того даже и на мягком ложе плохая ожидает ночевка.

Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского[49 - Вероятно, имеется в виду Аццо VIII, властитель Феррары. Умер в 1308 году.] некий купец по имени Ринальдо

д'Эсти приехал по своим делам в Болонью. Случилось, однако ж, что, устроив дела свои, он на возвратном пути,[50 - То есть на пути в Эсте.] между Феррарой и Вероной, повстречал незнакомых ему людей, которые смахивали на купцов, тогда как в действительности были разбойники, злодеи и душегубы, а повстречав, имел неосторожность с ними разговориться и к ним примкнуть. Убедившись, что это купец и что он при деньгах, лихие люди положили при первом же удобном случае его ограбить, а дабы у него не возникло ни малейшего подозрения, они вели себя скромно и благопристойно, толковали все только о предметах возвышенных и благородных и, как могли и умели, были по отношению к нему предупредительны и благожелательны, так что Ринальдо почел эту встречу за великую для себя удачу, ибо дотоле он путешествовал в сопровождении одного-единственного верхового слуги. Так, продолжая свой путь, слово за слово, как это часто бывает, они разговорились, и зашла у них речь о том, как люди молятся богу. И тут один из разбойников, - а было их всего трое, - обратился к Ринальдо с вопросом: «Ну, а ты, почтеннейший, какую молитву читаешь дорогой?»

Ринальдо же ему на это ответил так: «Откровенно говоря, я человек неотесанный, невежественный, молитв знаю мало, живу по старинке, попросту, звезд с неба не хватаю, со всем тем обычай мой таков: утречком, когда я съезжаю с постоялого двора, я непременно читаю за упокой души родителей[51 - Согласно преданию, они были убиты по ошибке святым Юлианом.] святого Юлиана Странноприимца «Отче наш» и «Богородицу», а потом уже молю бога и святого Юлиана о том, чтобы на следующую ночь они даровали мне добрый ночлег. Со мной в пути не раз случались великие напасти - ан глядь: на ночь тебе готовы уютный кров и спокойный ночлег. Вот почему я молюсь святому Юлиану - я твердо верю, что это он испрашивает мне милость у бога. И уж у меня такая примета: ежели я утречком ему не помолюсь, то и пути мне не будет, и ночевки хорошей не жди».

Все тот же разбойник задал ему еще один вопрос: «А нынче-то утром ты молился?»

«А как же!» - отвечал Ринальдо.

Тут разбойник, предугадывавший, какой оборот примет дело, подумал: «Не мешало бы тебе вдругорядь помолиться, а то, если только мы не оплошаем, ночлег у тебя, сдастся мне, будет неважный». К нему же он обратился с такими словами: «Я также немало странствовал, однако молитвы той не читал, несмотря

что от многих слыхивал, что она хорошо помогает, и все-таки от беспокойного ночлега меня до сего времени бог миловал. Ужо вечером сам убедишься, кто из нас лучше заночует: ты ли, несмотря что сотворил молитву, или же я, несмотря что не сотворил. Правда, я заместо нее читаю другие молитвы: „Векую, Боже, отринул еси до конца“, „Под твою милость“ и „Из глубины воззвах“, [52 - Начала трех особенно популярных в те времена молитв.] – моя покойная бабушка говорила, что они много помогают».

В таких и тому подобных разговорах продолжали лиходеи свой путь, выбирая подходящее место и время для выполнения злого умысла, и наконец, когда уже смерклось, у переправы через реку, пересекающую дорогу, которая идет от Кастель Гвильельмо, [53 - Кастель Гвильельмо... – укрепленный городок между Феррарой и Эсте.] они, сообразив, что время позднее, а место безлюдное и глухое, напали на купца, ограбили, отобрали у него коня, оставили в одной сорочке и, удаляясь, крикнули: «Вот ты теперь увидишь, как тебя приютит на ночь твой святой Юлиан, а наш святой Юлиан приютит нас со всеми удобствами!» И тут они, переправившись через реку, скрылись из виду.

Слуга Ринальдо как последний трус, видя, что хозяина грабят, не только не пришел ему на помощь, но поворотил коня, гнал его во весь мах до самого Кастель Гвильельмо, въехал туда уже вечером и, позабыв обо всем на свете, заночевал. Меж тем Ринальдо не знал, как быть: темь, холодище, вьюга, а он босой и в одной сорочке, от холода у него зуб на зуб не попадает, и вот начал он оглядываться по сторонам, нет ли какого пристанища, где бы он мог переночевать и не заоченеть от холода. Ничего такого не обнаружив, ибо во время недавней войны [54 - По-видимому, речь идет о войне между Аццо VIII и его братом Франческо (1305–1307).] все как есть в том краю было выжжено, он, гонимый стужей, припустился бегом в Кастель Гвильельмо: он не чаял найти там своего слугу, ибо не знал, куда тот девался, – он надеялся только на милость божью.

Непроглядная ночь застигла его, однако ж, еще в миле от Кастель Гвильельмо. В столь поздний час ворота были уже заперты, мосты подняты, так что проникнуть туда не представлялось возможным. Удрученный и безутешный, Ринальдо со слезами высматривал, где бы хоть от снега укрыться. И тут-то по счастливой случайности взгляд его уперся в дом с навесом, слегка выступавшим за городскую стену; вот Ринальдо и решился спрятаться под навес и пробыть там до рассвета. Под навесом он нащупал дверь, впрочем, запертую изнутри, подостлал у порога валявшейся тут же соломки и, страждущий и унылый, на ней

расположился, беспрестанно ропща на святого Юлиана и говоря себе, что по своей вере в него он заслуживает лучшей участи. Между тем святой Юлиан пекся о нем и вскорости уготовал ему уютный кров.

В том пригороде проживала некая вдовушка, красавица писаная, в которой маркиз Аццо души не чаял и которую он здесь держал для своей надобности. А проживала помянутая вдовушка в том самом доме, на крыльце коего приютился Ринальдо. Нужно же было случиться так, что накануне сюда заехал сам маркиз, дабы провести со вдовою ночь, и отдал тайные распоряжения приготовить ванну и отменный ужин. Когда же все было готово и вдовушка с минуты на минуту ожидала маркиза, прискакал гонец и сообщил такие вести, которые принудили маркиза внезапно отбыть. По сему обстоятельству, велел сказать вдовушке, чтобы она не ждала его, он не мешкая тронулся в путь. Вдовушка слегка опечалилась, подумала, подумала и решилась сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а засим отужинать и лечь спать. С этим намерением она села в ванну.

Ванная комната находилась недалеко от двери, у которой примостился снаружи злосчастный Ринальдо, – вот почему вдовушка, сидя в ванне, слышала, как тот рыдал и стучал зубами, словно аист – клювом.[55 - Одна из многочисленных в «Декамероне» реминисценций из Данте («Ад», песнь XXXII, 34–36).] Наконец хозяйка кликнула служанку и сказала: «Пойди выгляни, кто это там за дверью и что он делает». Служанка пошла, а так как небо к тому времени расчистилось, то она явственно увидела Ринальдо, сидевшего, как уже было сказано, в одной сорочке, босого и дрожмя дрожавшего. Служанка спросила, кто он таков. Ринальдо не в силах был унять дрожь и оттого изъяснялся нечленораздельно, и все же он постарался в коротких словах объяснить служанке, что, как и почему, а засим стал просить ее жалобным голосом впустить его под кров, иначе-де он тут замерзнет. Служанка, растроганная, пошла к своей госпоже и все ей рассказала. Госпожа также прониклась к нему жалостью и, вспомнив, что у нее есть ключ от той двери, через которую маркиз иной раз тайно проникал к ней в дом, молвила: «Пойди и тихонько отопри ему. Ужин остался нетронутым, да и места для него хватит».

Служанка, расхвалив госпожу за выказанное ею человеколюбие, пошла отворять. Когда же она впустила Ринальдо, то вдовушка, обратив внимание, что он совсем заоченел, сказала: «Полезай, дружок, в ванну – она еще не остыла». Ринальдо не заставил себя долго упрашивать и, согревшись, почувствовал, что оживает. Вдовушка велела приготовить ему платье своего мужа, незадолго

перед тем скончавшегося, и когда Ринальдо в него влез, то оказалось, что оно как будто на него шито, и тут, в ожидании дальнейших распоряжений хозяйки дома, он возблагодарил бога и святого Юлиана за то, что они избавили его от грозившей ему тягостной ночи и привели к тихому, как ему казалось, пристанищу. Немного отдохнув после ванны, госпожа приказала пожарче натопить залу и, войдя в нее, осведомилась, как себя чувствует пришелец.

Служанка же ей на это ответила: «Сударыня! Он уже оделся, собой он хорош и, видать, человек порядочный и обходительный».

«Поди позови его, – молвила вдовушка, – пусть погрееется у камелька и поужинает, а то ведь он голодный».

Войдя в залу и увидев даму, которую он принял за даму знатную, Ринальдо низко ей поклонился и горячо поблагодарил за оказанное ему гостеприимство. Увидев и услышав пришельца и уверившись, что служанка ей не солгала, вдовушка радостно приветствовала его и, без церемоний усадив его рядом с собой у огня, начала расспрашивать, что его сюда привело, Ринальдо же рассказал ей все по порядку. До слуха вдовушки кое-что уже дошло, как скоро в городе появился слуга Ринальдо, и, поверив всему, что Ринальдо ей сообщил, она, в свою очередь, довела до его сведения то, что было ей известно о слуге, присовокупив, что наутро слугу без труда разыщут. Как скоро накрыли на стол, Ринальдо вымыл руки и по желанию хозяйки сел с нею рядом. Росту он был высокого, красив, приятной наружности, статен, изящен, средних лет.[56 - То есть около тридцати пяти лет (сравните Данте: «Земную жизнь пройдя до половины...»)]. Хозяйка несколько раз окинула его взглядом, и он вполне пришелся ей по нраву, а так как несостоявшееся свидание с маркизом возбудило в ней сладострастные вожделения, то после ужина, когда они встали из-за стола, она спросила служанку, не осудит ли та ее, если она, будучи обманута в своих ожиданиях маркизом, воспользуется благоприятным случаем, ниспосланным ей судьбою.

Служанка, угадав желание госпожи своей, постаралась, как могла и умела, уговорить ее не препятствовать своему желанию. Хозяйка возвратилась в залу, где Ринальдо пребывал в одиночестве, и, поглядывая на него игриво, повела с ним такую речь:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

...посетила губительная чума... – Речь идет о знаменитой эпидемии чумы, вспыхнувшей в Тоскане в январе 1348 года. В апреле того же года она перекинулась во Флоренцию. Болезнь была завезена с Востока. По одним сведениям – из Сирии, по другим – из Кафы (нынешняя Феодосия в Крыму). Согласно последней версии, в татарском войске, осаждавшем принадлежавшую генуэзцам Кафу, началась эпидемия чумы. Будучи не в силах взять сильно укрепленный город приступом, татары решились на отчаянное средство: с помощью катапульт они стали перебрасывать трупы умерших от чумы через городские стены. Несмотря на все принятые осажденными меры, несколько зараженных попали на корабли, отплывшие в Италию. Так началась чума в Европе, повлекшая за собой неисчислимые жертвы.

2

...руками людей, для этой цели употребленных... – Среди этих «специальных» людей находился и отец Боккаччо.

3

Гален, Гиппократ и Эскулап... – Два знаменитых греческих врача вкупе с Эскулапом (фигурой мифической) упоминались постоянно в итальянской литературе XIV века.

4

...в чтимом храме Санта Мария Новелла... – Знаменитая церковь Санта Мария Новелла во Флоренции, начатая постройкой в 1278 году, была во времена Боккаччо одной из самых посещаемых во Флоренции.

5

...первую... мы назовем Пампинеей, вторую – Фьямметтой и т. д. – Дело в том, что имена всех семи девушек, персонажей Боккаччо, значащие. Пампинея – значит цветущая; фьямметта – имя легендарной возлюбленной самого автора, вдохновительницы ранних его сочинений; Филомена – любительница пения; Эмилия – ласковая; Лауретта – уменьшительное от Лауры, воспетой Петраркой; Нейфила – «новая для любви» (впервые влюбленная); Элисса – второе имя вергилиевской Дидоны.

6

из них звали Панфило, другого – Филострато, третьего – Дионео. – Как и в предшествующем случае, имена юношей тоже значащие. Панфило – то есть «весь любовь»; Филострато – «раздавленный любовью»; Дионео – буквально: «венерео» (от Венеры, дочери Диона).

7

Какие-нибудь две мили... – Учитывая, что тосканская миля равнялась примерно 1650 метрам, компания проделала путь около трех километров.

8

...и вот они уже в том месте... – Согласно традиции, установившейся у комментаторов Боккаччо начиная с XV века, под «тем местом» автор разумел местечко Поджо Герарди (возле Майано), где он имел небольшое поместье.

9

Пармено... Сириско... Тиндаро и т. д. – имена греческого происхождения, которые встречаются в комедиях Теренция и Плавта.

10

...подали воду для омовения рук... – Обычай, вызванный тем, что к столу не подавали никаких приборов, кроме ножей.

11

...на виоле... – Виола – музыкальный инструмент для исполнения светской музыки.

12

Папа Бонифаций. – Имеется в виду папа Бонифаций VIII (1235–1303). Он происходил из древнего рода Каэтани.

13

«Этих ломбардских собак...» – «Ломбардцами» называли всех ростовщиков.

14

...не впал ли в блуд, согрешив с какой-либо женщиной. – Этот и все другие вопросы, задаваемые монахом, чередуются в строгой последовательности, предписанной церковью.

15

...дабы по его милосердию мы в сию годину бедствий... – Речь идет о чуме.

16

...Джаннотто ди Чивиньи... – Речь, по-видимому, идет о том, что человек этот был родом из местечка Шовиньи или Шевиньи.

17

...происшествие, случившееся с одним евреем. – Парабола о мудром еврее имела широкое хождение в эпоху средневековья, и содержание ее мало рознилось от рассказа Боккаччо.

18

Доблесть Саладина... – Саладин (1137–1193) – каирский султан, отвоевавший Иерусалим у христиан (1187). В литературе европейского средневековья и в народных преданиях он пользовался (особенной популярностью. (С Саладином связана и новелла 9 десятого дня «Декамерона».)

19

...по имени Мельхиседек... – Распространенное еврейское имя, означающее «царь справедливости».

20

...убережись от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее... – Рекомендация, часто встречаемая в средневековой любовной литературе.

21

Маркиз Монферратский... – По-видимому, Боккаччо имеет здесь в виду Коррадо дельи Алерамичи, одного из самых предприимчивых вождей третьего крестового похода (1189–1192).

22

...при дворе Филиппа Кривого... – Речь идет о французском короле Филиппе Августе (1165–1223), который вместе с Фридрихом Барбароссой и Ричардом Львиное Сердце возглавлял третий крестовый поход.

23

...никогда в жизни маркизы не видел... – Мотив влюбленности на основании молвы был чрезвычайно распространен в средневековой любовной литературе.

24

...минорит, гонитель нечестивых еретиков... – Вероятно, Боккаччо в данном случае имеет в виду монаха Мино да Сан Кирико, занимавшего должность инквизитора с 1332 по 1334 год, смещенного за корыстолюбие и всевозможные правонарушения.

25

С мечами и кольями (лат.)

26

...инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста... – Комизм этого замечания построен на использовании прозвища одного из наиболее почитаемых отцов церкви для характеристики алчности монаха-инквизитора.

27

...как будто это Возлияни... – Вероятнее всего, намек на какого-нибудь реального знаменитого бражника.

28

Эпикур– древнегреческий философ IV века до н. э. В средневековой традиции Эпикур был символом неверия (атеизма). В этом смысле Эпикура упоминает в X песне «Ада» Данте.

29

Под «мазью» подразумеваются флорентийские деньги с изображением Иоанна Златоуста.

30

То есть сожжение на костре было заменено покаянием. Приговоренный к покаянию должен был нашить на свою одежду матерчатый крест.

31

Санта Кроче – церковь во Флоренции. он волен был проводить, как ему заблагорассудится.

32

Цитата из Евангелия от Матфея, XIX, 29.

33

Речь идет о Кангранде делла Скала (1291–1329), властителе Вероны, снискавшем славу щедрого и великодушного государя. Кангранде оказывал покровительство самому Данте.

34

Фридрих II (1194–1250), король Сицилии. Был также прославлен за свою щедрость и покровительство поэтам.

35

Как следует из дальнейшего, Бергамино был профессиональным сказителем. Во времена, к которым относится это повествование, действительно был некий

сказитель, по имени Николо, прозванный Пергамино, автор «Dialogus creaturanum».

36

В первой половине XIII века большой известностью пользовался Примас Кельнский. Его перу принадлежат многочисленные «песни голиардов» и несколько небольших поэм на латинском языке.

37

Упоминания о знаменитом бенедиктинском аббатстве Кюни (Франция), равно как и великолепии его настоятелей, часто встречаются в литературе позднего средневековья.

38

Гримальди – одно из известнейших патрицианских семейств Генуи.

39

Гвильельмо Борсьере – реальное лицо, упоминаемое Данте («Ад», песнь XIV, 70–72).

40

Первым королем Кипра был Ги де Лузиньян (1192–1194), прославившийся безволием и полнейшей неспособностью к правлению.

41

Готфрид Бульонский возглавлял первый крестовый поход (1099), завершившийся завоеванием Иерусалима.

42

Вполне вероятно, что в данном случае имеется в виду Альберто дей Дзанкари, известный медик, преподававший в Болонском университете в первой половине XIV века. У него действительно была жена по имени Маргерита (тогдашняя распространенная в Болонье форма этого имени – Мальгериди).

43

Гизольери – известная по хроникам болонская семья.

44

Святой Арриго (Блаженный) из Тревизо, уроженец Больцано. В день его смерти (11 июня 1315 г.) и произошли, согласно хроникам, все те чудеса, о которых рассказывается в новелле.

45

Флорин – монета, выбитая впервые в 1252 году, стоимостью в двадцать золотых сольдо.

46

Аголанги – флорентийская знатная семья, изгнанная из Флоренции во второй половине XIII века. Документы, относящиеся к началу XIV века, сообщают об Аголанги, проживавших в Тревизо и Венеции.

47

Это замечание возвращает читателя к теме новелл второго дня, которую задала в самом начале Нейфила.

48

В средние века молитва, возносимая святому Юлиану, защитнику от всех невзгод в пути; была популярнейшей.

49

Вероятно, имеется в виду Аццо VIII, властитель Феррары. Умер в 1308 году.

50

То есть на пути в Эсте.

51

Согласно преданию, они были убиты по ошибке святым Юлианом.

52

Начала трех особенно популярных в те времена молитв.

53

Кастель Гвильельмо... – укрепленный городок между Феррарой и Эсте.

54

По-видимому, речь идет о войне между Аццо VIII и его братом Франческо (1305–1307).

55

Одна из многочисленных в «Декамероне» реминисценций из Данте («Ад», песнь XXXII, 34–36).

56

То есть около тридцати пяти лет (сравните Данте: «Земную жизнь пройдя до половины...»).

Купить: <https://telnovel.me/dzhovanni-bokkachcho/dekameron-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)